ВРЕМЯ И МЕСТО

Литературно-художественный
и общественно-политический журнал

Выпуск 1 (37)

Нью-Йорк, 2016

ВРЕМЯ и МЕСТО
Международный литературно-художественный и общественно-политический журнал

VREMYA I MESTO
International Journal of Fiction, Literary Debate, and Social and Political Commentary

Copyright © 2016 Vremya i Mesto

Produced by *Shikhman Publishing*

Artwork on front cover by Roman Genn

No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means – electronic, mechanical, photocopy, or any other – except for brief quotations in printed reviews, without prior permission from the Publisher.

For any information about obtaining permission to reproduce selections from the journal, please call 718-815-5000 or send an email to olga@flockusa.com or guydmf@yahoo.com

www.vmzhurnal.com

All rights reserved

ISBN: 978-1523690923

Printed in the United States of America

Игорь Шихман, ***издатель и***
главный редактор (США)

Редакционная коллегия:
Давид Гай – *зам. главного редактора* *(США)*
Ирина Басова *(Франция)*
Марк Вейцман *(Израиль)*
Руслан Галазов *(Испания)*
Нина Генн *(США)*
Геннадий Кацов (США)
Надежда Кожевникова (США)
Давид Маркиш *(Израиль)*
Владимир Некляев *(Беларусь)*
Андрей Остальский *(Англия)*
Александр Половец *(США)*
Георгий Пряхин *(Россия)*
Семен Резник *(США)*
Михаил Румер-Зараев *(Германия)*

СОДЕРЖАНИЕ

К ЧИТАТЕЛЯМ..... 6

ПРОЗА
ДИНА РУБИНА
Три новеллы.....9

ВЛАДИМИР МАТЛИН
Фаллос 26

ВИКТОР НОРД
Приключения деда-
эпикурейца.....49

БОРИС ПЕТРОВ
Рассказы..... 70

ВАЛЕРИЙ СКОБЛО
В сторону “Вулкана”….....95

АЛЬБЕРТО МОРАВИА
Страх.....109

ПОЭЗИЯ
МАРК ВЕЙЦМАН …..... 44

НАТАЛЬЯ ПИСАРЕВА.....65

АЛЕКСАНДР ПЕТРУШКИН.....101

МИХАИЛ БРИФ..... 151

ФЕЛИКС РЕЙНШТЕЙН.....160

БИБЛИОГРАФИЯ
АЛИНА РЫБАК
Три “Ц” и Верлибрарий 166

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
РОМАН СОЛОДОВ
Что происходит со средним классом.....118

СУДЬБЫ
МАРК ШТЕЙНБЕРГ
Одиссея сержанта Галкина.....130

ЭКОНОМИКА
АНДРЕЙ ОСТАЛЬСКИЙ
Спаситель капитализма.....172
.
РЕМИНИСЦЕНЦИИ
ЯКОВ ФРЕЙДИН
Шпионские страсти..... 210

BACK TO USSR
БОРИС РУМЕР, МИХАИЛ РУМЕР
Квартира на Абельмановке….....223

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ**.....**232

САРКАСТИЧЕСКИ-ИРОНИЧЕСКАЯ ПРОЗА И ПОЭЗИЯ
ЮРИЙ СОЛОДКИН
Четверостишия..... 234

ИСКУССТВО
Шурка……. 238

АВТОР ОБЛОЖКИ
Смеяться, право, не грешно..... 244

К ЧИТАТЕЛЯМ

Дорогие друзья! Как неумолимо быстро течет время! Кажется, только вчера я занимался сочинением редакторского обращения для первого выпуска журнала “Время и место”. А сегодня уже обращаюсь к вам по весьма приятному поводу: **вы держите первый номер юбилейного, десятого года издания.**

Все минувшие годы редакционный коллектив делал все зависящее от него, чтобы “Время и место” было интересным, познавательным, объективным, многогранным изданием. Надеюсь, эти обещания, данные читательской аудитории в первом номере, в значительной мере выполнены.

Особенно важно, что мы смогли сохранить независимость журнала. Он никем не ангажирован и никогда за эти годы не исполнял чьи-либо заказы. При подборе материалов главным критерием служит литературное качество.

Журнал преследует главную цель: дать возможность печататься авторам-иммигрантам, пишущим на русском и живущим в разных государствах. Журнал стал их трибуной, мостом, связывающим страны и континенты. Страницы издания открыты и для писателей постсоветских республик. Сменные цветные обложки воспроизводят работы художников-иммигрантов. Этим “Время и место” значительно отличается от подобных изданий как в зарубежье, так и в России.

В вышедших за эти годы номерах немало имен известных писателей и публицистов, подавляющее большинство которых живет на Западе. Дина Рубина, Борис Хазанов, Владимир Порудоминский, Давид Маркиш, Лев Лосев, Андрей Остальский, Марина Тюрина-Оберландер, Борис Кушнер, Михаил Румер-Зараев, Владимир Некляев, Михаил Веллер, Олег Глушкин, Владимир Батшев, Семен Резник, Борис Сандлер, Вера

Зубарева, Софья Богатырева, Александр и Владимир Матлины, Андрей Грицман, Геннадий Кацов, Павел Грушко, Наум Коржавин, Виталий Амурский, Григорий Канович, Марк Вейцман, Юрий Солодкин, Евсей Цейтлин… Некоторые из них – члены редколлегии.

Мы публикуем произведения независимо от политической коньюнктуры. Сегодня это обстоятельство приобретает особое значение. Все чаще инакомыслящие авторы получают от ворот поворот в российских литературных журналах и издательствах. Там избегают публиковать остро-критические, “крамольные” произведения. Нет, прежняя система советской цензуры не возрождается – в ней нет надобности. Просто главные редакторы и руководители издательств не хотят портить отношения с власть предержащими. Это может обернуться им (и уже оборачивается!) большими неприятностями. Самоцензура, продиктованная страхом, боязнью обвинения в *русофобии, экстремизме* и тому подобном – удел российских издателей.

Некоторые из отвергнутых в России текстов вы можете прочитать у нас. Так, в последних номерах увидели свет фрагмент романа Валерия Бочкова “Харон” и полностью романчик (так автор его назвал) Исаака Фридберга “Безумие Башмаковера”. В первом романе без труда угадывается прообраз нынешнего правителя России, которого хотят *ликвидировать*, во втором – устами главного героя, якобы сумасшедшего, описаны условия существования страны с зомбированным, утратившим чувство реальности населением. В последнем номере за прошлый, 2015 год опубликована глава из романа Давида Гая “Исчезновение”, который по изложенным выше причинам также не может быть издан в России.

В следующем номере планируется начать печатать роман уже известного нашим читателям Исаака Фридберга – “ Родина убежала”. Не буду излагать фабулу, думаю, что одно название интригует и сулит увлекательное чтиво.

В июне исполняется 75 лет с начала войны с гитлеровской Германией. Сегодня к тяжелейшему испытанию, выпавшему на долю народа, в российском обществе неоднозначное отношение. В угоду насаждаемому сверху казенному “патриотизму”, нередко опирающемуся на искажение и перевирание фактов, сочиняются легенды и были, переписываются школьные учебники. Правда о войне становится недоступной молодежи.

Для меня и людей моего поколения Великая Отечественная останется чудовищным молохом, прошедшим через жизни и судьбы практически всех семей. Только в семьях родителей в гетто Одессы и Бердичева, на фронтах и в партизанских отрядах погибло около тридцати человек.

Тема этой величайшей трагедии будет присутствовать на страницах нашего журнала весь год. В этом номере опубликованы воспоминания известного военного историка, полковника в отставке Марка Штейнберга “Одиссея сержанта Галкина”.

...Итак, господа, мы вступили в юбилейный для нашего детища год. Будем рады услышать ваше мнение о нашей работе. Пишите, обсуждайте прочитанное, ваши письма всегда найдут место на страницах “Времени и места”.

Игорь ШИХМАН,
издатель и главный редактор

ДИНА РУБИНА

ТРИ НОВЕЛЛЫ

Если что и волнует меня с годами, так это истории человеческих судеб. Рассказанные без особых подробностей, просто, даже отстраненно, – они как монолог попутчика в поезде дальнего следования. И после бессонной ночи все смешается: имена людей и городов, даты встреч и расставаний. Останутся в памяти желтые полосы света от фонарей на полустанках, слуховое окно, мелькнувшее в заброшенном доме, и глуховатый голос, временами зависавший в попытке подобрать слово... Самое дорогое тут: голос рассказчика. Как пресечется он в неожиданном месте, или вдруг смягчится в улыбке, или замрет, будто заново удивившись давно прожитому.

Кстати, многие из этих историй я услышала именно в поезде или в самолете – словом, в пути. Видимо, само ощущении дороги побуждает нас заново осмыслить давние события, вслух размышляя о том, что изменить уже невозможно.

МЕДНАЯ ШКАТУЛКА

– **Н**ичего, что я все болтаю, болтаю…? Скажите, когда надоем, не стесняйтесь, ладно? Просто, вы так хорошо слушаете, а в поезде так славно разговор течет…

Вот мы говорили о семейном предопределении. Если позволите, я – о своей семье. Не пугайтесь, скучно не будет. Истории прошлого века в любом случае занимательны.

Итак, представьте девушку из мещан, гимназисточку-егозу, пророманненую книгами до последней легчайшей кудряшки. Подмосковный городок с летним павильонами, где на подгнивших от дождей

подмостках дают спектакли наспех сколоченные труппы заезжих актеров. Как можно не влюбиться в плечистого-речистого героя? Как можно не пропасть в его улыбке, в рокоте его баритона, как можно унять восторженную дрожь, когда он – Гамлет – произносит начальные фразы своего знаменитого монолога!

Не буду утомлять вас атрибутами романтической страсти: всеми этими букетами, записочками, условленными встречами в беседке над рекой. Скажу сразу: она сбежала с труппой. Это была моя бабушка…

Лет через пять герой оставил ее уже в другом подмосковном городе одну, с двумя детьми; старшему было четыре, младшему, моему отцу – годик. Теперь вообразите ее положение: к тяжелой работе не приучена, денег ни копейки, дети голодают, малыш вяжет руки. Чем зарабатывала? Изредка давала уроки немецкого или латинской грамматики девочкам из не слишком щепетильных семей, ибо столь безнравственную особу тоже ведь не на каждый порог пустят. Написала она родне покаянное письмо, но в ответ ни слова не дождалась: мой прадед и без того крутоват был, а тут случай особый: эдак-то его дочь ославила – на весь город! Трудно ему было позор проглотить. Словом – беда, настоящая беда, хоть вешайся.

И в такой-то тяжкий момент к ней с тайным визитом вдруг приезжает семейная пара: ее троюродная сестра с мужем. Адресок, стало быть, добыли из того самого ее письма, каждая буква которого вопила о спасении. Люди они были состоятельные, порядочные, и уж десять лет как женаты, но… ребеночка все бог не давал, и надежда на это совсем истаяла. А я и сейчас восхищаюсь их расчетом: как всё толково обмозговали, как грамотно ловушку расставили! Часа через два пустой болтовни бабушкина сестра вдруг заплакала и сказала:

– Соня, отдай нам младшенького! Мы тебе помогать станем, вроде пенсиона положим. Ты вздохнешь, подкормишься, оглядишься. Человеком себя почувствуешь. И себя сохранишь, и старшего вытянешь… Такое вот выгодное предложение: продай, мол, сына. Если, конечно, не хочешь сгинуть вместе с обоими….

А куда деваться? Жизнь штука подлая, злая. И сидели они, трое: женщины ревели белугами, мужчина тоже сильно переживал. Сами понимаете, речь ведь не о болонке, а о живом малыше.

И решилась она. Приняла этот неминучий выбор судьбы. А как еще могла обоих детей спасти?

Только одно условие ей и поставили, зато уж жестокое: не появляться. Раз в году могла она приехать и глянуть на сыночка издали, из-за угла дома или в витрину кондитерской, куда его нянька водила пирожными угощать. Страшно тосковала, страшно! Но и радовалась каждый раз, потому как видела: сынок одет-обут, да при няньках, да такой красавчик и…так на нее похож!

Вот поглядите-ка на меня внимательно: заметили легкую косинку в левом глазу? Это родовая печать. Такая у бабушки была, у моего отца, у меня…И хотя договорилась она с приемными его родителями, что шкатулку с документами о рождении они закопают под грушей у себя в саду – мало ли что с людьми случается, целее будет, - эта легкая характерная косинка, ежели что, лучшим доказательством родства служила. Сразу было понятно – кто кому и кем приходится.

А дальше – что? Дальше грянула революция. Парню уже лет семнадцать исполнилось, и он – рослый, красивый, дерзкий, – ринулся в эту самую революцию, очертя голову и сердце. По характеру, понимаете ли, заводилой был. Как это сейчас говорится: прирожденный лидер. Сквозь революцию и войну прошел, как нож сквозь масло, о всех трибун в светлое будущее народ зазывал.

Видимо, артистизм родного папани унаследовал. Был он уже крупной шишкой в НКВД, женатым человеком, отцом двоих сыновей…Его приемный отец давно, еще в начале революционной мясорубки, скончался от разрыва сердца. Еще бы: видеть, как отнимают твою ткацкую фабрику, забирают дом и все нажитое. А главное, видеть, что возглавляет всю эту банду взращенное тобою дитя! Тут любой от ужаса и горя концы бы отдал. Ну, а жена его несчастная, вслед за ним последовала. Не захотела жить. Наглоталась чего-то, уж и не знаю – чего именно, и померла.

И тогда…

Знаете, люблю я этот поворотный круг в любой истории, исконный древний, еще из греческих трагедий поворот ржавого рычага, выпускающий на сцену нового либо подзабытого персонажа. Бывает, слушаешь, слушаешь чью-то историю, и ждешь, не дождешься: когда же, наконец, будет произнесено это самое *и тогда*…?

И тогда на сцене появилась родная мать.

Знаете, что интересно, – я ведь помню тот день. Не поверите: крошкой был, три годика, но почему-то запечатлелась в памяти эта сцена. Наверняка, был в ней такой накал, такая драматическая сила…ведь дети, они, как животные – чувствуют напряжение в воздухе. Мы со старшим братом играли на полу, строили из кубиков конюшню для деревянного коня, из-за которого постоянно дрались. А мать в кухне крутилась, тесто на пирожки раскатывала. Почему помню, что – тесто? А у нее руки были в муке. Ну, слушайте…

Позвонили в дверь, мать открыла. На пороге стояла пожилая женщина. Вот закрою глаза, и передо мною: стоит она и стоит. Молчит и порога не переступает. И мать молчит и тревожно так, вопросительно смотрит на нее…

Понимаете, на трезвый внимательный взгляд ей ничего и доказывать не надо было, – сын был похож на нее, как две капли воды. Просто одно лицо. Косинка эта характерная, которая так особенно, так лукаво направляет взгляд. И что поразительно: невестка, наша мать, приняла ее с распростертыми объятиями, – помню, на спине у гостьи отпечатались на макинтоше обе мучных маминых пятерни. Нам, детям, сказала: это ваша бабушка, «мамашей» ее сразу стала называть.

А отец…

Он, когда с работы вернулся, выслушал историю с каменным лицом и сказал: у меня мать одна, та, что меня воспитала. Другой у меня нет и не будет. Не верю я в эти байки…Тогда гостья ему говорит – сынок, я тебе могла бы доказать, ведь там у вас в саду под грушей шкатулка медная с документами о твоем рождении закопана….А отец ей:

– Кан-е-ешна, шкатулка! «Всадник без головы!» – рукой махнул и отвернулся.

В том доме давно, уже лет десять, как дворец пионеров был. Но сад сохранился, и груша старая как росла, так и осталась, правда, не плодоносила. Можно было бы выкопать ту шкатулку. Но только зачем: какая там шкатулка, когда на одно лицо – мать и сын. Но отец даже говорить с ней не желал. И впредь оставался, как кремень…

Бабушка к тому времени совсем одна осталась. Старший ее сын Семен, дядя Сеня, от тифа еще в Гражданскую помер. И видно, так обожгло ее в юности, что женская ее судьба прошла неинтересно, скудно.

Она приходила смотреть за нами, возилась по хозяйству, всю работу делала по дому, очень помогала маме, и та ее уважала и любила. А отец молчал, и так, по молчаливому обоюдному уговору, ко времени его возвращения с работы бабушка должна была уйти. Редко-редко задержится, если кто-то нас, детей, болеет.

Помню один такой день. Я лежу с камфарным компрессом на шее, а бабушка напекла мне горячих шанежек, чтобы мягко глотать…И тут отец вернулся, и она суетливо так на стол ему – тарелку с горячими шанежками, и чай крепкий, сладкий. А он, опустив голову, с такой горечью вдруг:

– Софья Кирилловна, почему ж вы отдали меня, а не брата?

И в ответ – тишина…

Я вам не надоел еще, со своими родичами? Интересная штука: начинаешь рассказывать новому человеку события чуть не восьмидесятилетней давности, а как вспомнишь эту бездонную беззащитную тишину на вопрос взрослого мужчины, так горло и перехватит…

Ну, дальше все просто: трагедию нашей семьи разрешило НКВД – отца арестовали в 39-м, и как потом уже я узнал, сразу и расстреляли. Бабушка переселилась к нам, и так дожила с нами до смерти.

У нее знаете, какой талант был? Она в уме считала мгновенно. Под старость с палочкой ходила по магазинам, стояла в очередях. И если кассирша обманет на копеечку-две, она протянет руку со сдачей и стоит, смотрит, смотрит,…пока взбешенная тетка в ладонь ей не бросит недостающую монетку. Так и вижу ее: стоит и смотрит, молча смотрит в свою ладонь с двумя грошами…

Вот что мучает меня всю жизнь: как вы думаете, горевала она, когда обретенного сына на смерть забрали, или испытала облегчение? А еще простить себе не могу, что, выросши, не откопал под грушей ту медную шкатулку с документами о рождении отца. Зачем? А бог ее знает. Все ж, семейная реликвия…

МЕДАЛЬОН

– О-о… такая это даль незаглядная, – мама ж родилась в восемнадцатом году!

Между прочим, отличная идея – давать в газете галерею судеб двадцатого века. Получается настоящий портрет эпохи. Лично я считаю, в этом деле, как в антиквариате: любая, даже незамысловатая вещица через сто лет становится ценной. И жаль, что припоздали: еще три года назад вы могли бы взять интервью лично у мамы – она до последней минуты оставалась в ясной памяти. Но я попробую.

Значит, восемнадцатый год, окраина рухнувшей империи, Владивосток, власть гуляет от белых к красным, а банд этих разных, шаек-леек зеленых-коричневых, – тех вообще без счету. И дед мой, отец моей мамы, точно так же переходил от белых к красным, и обратно, а по пути еще заруливал к каким-нибудь бандитам. Тот еще был деятель, как сейчас понимаю. В семье появлялся, будто полная луна – хорошо, если раз в месяц.

И вот, пришла пора бабушке рожать, прихватило ее прямо на бульваре, а поскольку никто не подходил помочь (многие знали ее мужа и обходили роженицу за сто метров), – так она и загибалась форменным образом. Присела на скамейку, обхватила живот…и уж ни встать, ни двинуться – никакой возможности.

В эти именно минуты проезжала по бульвару кавалькада во главе с любовницей атамана Семенова.

Вы когда-нибудь слышали, читали о ней? Очень жаль: это была фигура удивительная, из тех, кого называют харизматической личностью. Впрочем, ее по-разному называли: Маша-цыганка, Мария Нахичеванская, Маша-ханум. Красивая была, экстравагантная, на собственном поезде разъезжала, вся в мехах и драгоценностях. Японские журналисты называли ее «королевой бриллиантов». Словом, истинно: атаманша.

Увидев душераздирающую сцену стремительных родов, Маша-цыганка остановилась, спешилась и велела своим бугаям отнести роженицу в ближайший дом. А хозяевам этого дома велела помочь женщине, пригрозив,

что собственноручно спалит «халабуду» до последнего уголька, если те сей момент не сбегают за акушеркой. И те, само собой, очень быстро побежали, ветер в ушах свистел. Акушерка была привезена, за пролетку уплачено, и бабушка благополучно родила мою маму.

На другой день любовница атамана приехала навестить спасенных ею мать и дитя, нарекла девочку Марией (в честь себя, несравненной), сняла с шеи медальон и подарила крестнице. Сказала: на память и счастливую судьбу.

Ну, поначалу судьба у малышки оказалась не очень счастливой: через четыре года ее мать, моя бабушка, умерла от каких-то таинственных «печеночных колик», папаша, и ранее вполне бесполезный, к тому времени вообще растаял в дымке морской, улепетнув на последнем корабле в неизвестном направлении. А девочку дальняя родня определила в…как это называлось тогда? дом сирот? детский приют? – неважно, потому как пробыла она там недолго. Видимо, назначенная атаманшей счастливая судьба очнулась и принялась раздувать пары и устраивать «случайные обстоятельства».

Случайным обстоятельством оказалась командировка во Владивосток известного советского писателя, очень доброго и, между прочим, бездетного человека, который прилетел собирать материал для большого очерка об ударных портовых буднях советских дальневосточников.

И все на том же Приморском бульваре, где московского гостя радушные портовики угощали пивом, а воспитательница прогуливала группу детей-сирот, к писателю подбежала маленькая девочка – под скамейку, видите ли, где он сидел, закатился резиновый мячик, ее любимая игрушка…Скажите после этого, что судьба не играет в фанты! Еще как играет – а иначе с чего бы известному советскому писателю всю ночь промаяться без

сна в гостиничном номере, вспоминая бледное личико, и это, по-взрослому вежливое: «спасибо, гражданин!» – когда он вручил девочке мяч?

…Так моя мама попала в семью известного писателя, автора нескольких книг, о которых сейчас мало кто вспоминает, а в те годы читали запоем… Собственно, семьи-то было – он, «дядя Рува», и его жена Ирина Марковна, «Ируся». У них моя мама и выросла в любви и уважении.

– К дяде Руве, – вспоминала мама, – часто приходили гости. Ируся хорошо готовила и пекла божественно, так что застолья у нас не переводились. Это были Паустовский, Федин, Бабель…Я тогда не знала, что они – небожители. Для меня они были просто – друзья дяди Рувы.

Разумеется, мама закончила одну из лучших московских школ, играла на фортепиано – до старости, знаете ли, и очень бегло! – знала четыре иностранных языка. Как говорит одна моя приятельница: в девочку вложили целое состояние. Ну, «состояние» – это, конечно, метафора, но…Да, я заметила: вы внимательно посматриваете вокруг. Иногда люди восхищаются, иногда осуждают, кто-то однажды назвал нашу квартиру «антикварной лавкой». Но я привыкла жить среди красивых старинных вещей, я выросла среди них. Видите ли, дядя Рува был большим ценителем и коллекционером разных диковин, и маму с детства пристрастил, как сам говорил – «к восхищению, к любованию красотой и мастерством». А позже, когда она стала дипломированным врачом, хирургом, да еще и женой дипломата…, она и сама любила бродить по лавочкам, развалам всяким, рынкам-скупкам. Глаз у нее был, папа говорил, «хирургически точным»: из кучи хлама вдруг выудит мизинцем какую-нибудь старинную бутылочную пробку венецианского стекла за один франк…

Вот, например…Гляньте-ка на полку – там, рядом с синей вазой…неприметный такой, тускловатый. Это невероятно драгоценная вещь, музейная вещь: кубок Скандербега…Как – не знаете? Национальный албанский герой. Ну да, вы так молоды, для вас слово «албанский» означает нечто интернетное, да? Вы, конечно, не видели старого фильма 53-го, кажется, года – «Великий воин Албании Скандербег»? На слух звучит как-то…замшело, по-советски. Его звали Георгий Кастриоти, он был венецианских корней, жил в 15 веке, принял ислам, потом отрекся от ислама, возглавил восстание против турок, завоевал такую военную славу, что албанцы назвали его в честь великого Александра (Искандера): Скан-дер-бег…

Так вот, на этот кубок мама наткнулась бог знает где - в деревушке, в албанских Альпах. Понимаете, ее муж, мой отец, был известным дипломатом, и в расцвете своей карьеры бывал послом и во Франции, и в Великобритании, и в Швеции…А по молодости лет им с мамой приходилось жить и в Монголии, и в Афганистане. Вот, и в Албании. И мама никогда не сидела, сложа руки, никогда не была «супругой посла» – в том смысле, в каком были многие посольские жены. Она всегда работала, и работала по специальности. Много оперировала, порой в немыслимых условиях.

Едва обосновавшись на новом месте, сразу находила себе применение в какой-нибудь клинике. И всюду оставалась собой, только собой. Она, знаете ли, не была красива в расхожем представлении обывателей о красоте. Но в ней столько шарма было: невысокая, хрупкая, шапка чудесных пепельных кудрей; знакомясь с ней, люди представить не могли, что перед ними – врач, кардиохирург…

А я-то помню силу маминого характера! Однажды в детстве я вознамерилась пройти на спор по перилам балкона третьего этажа – я тогда занималась гимнастикой и мнила себя будущей чемпионкой мира. Успела влезть на

стул и даже поставить ногу на перила. Глянула вниз… и оцепенела от страха. А отказаться – значит, струсить, позор невозможный! Боженька, думаю, спаси меня от этого идиотства!.. И спас! Откуда ни возьмись, мама влетела, как вихрь, стащила меня за волосы и такую трепку задала, – до сих пор помню увесистую тяжесть ее *изящной* руки.

Да…Мама прожила блестящую жизнь, – как в таких случаях пишут в некрологах и монографиях? – *жизнь, богатую событиями.* Я вам, конечно, покажу все семейные альбомы, вам же нужно – для статьи. Страны, города, конференции разные…сотни спасенных жизней, и так далее…Не в этом дело! Понимаете, она объездила с моим отцом чуть не весь мир, была знакома со знаменитыми актерами, писателями, художниками, встречалась с президентами и премьер-министрами, обедала в королевских дворцах в компании чуть не всей европейской знати. Дружила с Пикассо, Жаном Габеном, Симоной Синьоре…Невозможно все перечислить. А я представляю себе скамейку на бульваре и несчастную роженицу, которую прихватило прямо на людях. И еще представляю благодетельницу, в роскошных мехах да бриллиантах, и подарок новорожденной – медальон, снятый прямо с лебединой шеи. Такую вот «путевку в жизнь» дала девочке Мария, любовница атамана Семенова.

Ага, я вспомнила: ее называли еще Маша-шарабан, по известной кабацкой песне, которую, лучше нее, говорят, никто не исполнял…Незатейливые такие куплеты:

Ах, что ж ты милай,
Да не приходишь,
Аль заморозить
Меня ты хочешь?
Продам я шалью,
Продам сережки,
Куплю я милому

Эх, ды сапожки!
Рай-рай-рай рай-да,
Рай-рай-рай-рай-да…

Ну, и так далее…Забавно, правда? Между прочим, когда в 1920-м году отец Серафим вез через Читу тело казненной большевиками великой княгини Елизаветы Федоровны, сестры последней императрицы, именно Маша-Шарабан помогла ему – и деньгами, и личным участием, – благополучно довести до конца скорбную миссию. Так что, благодаря ей, останки Елизаветы Федоровны ныне покоятся в усыпальнице храма Марии Магдалины, в Гефсимании, в Иерусалиме! Маша и сама присоединилась к этой миссии и, в конце концов, очутилась в Бейруте, где и начала новую жизнь – разумеется, не на пустом месте, а с некоторым количеством золотых слитков. Позже она вышла замуж за хана Георгия Нахичеванского, в который раз сменив имя - на «Марию-ханум», родила ему двоих сыновей (они потом стали офицерами египетской армии), – короче, жила долгую жизнь – аж до 1974 года! И похоронена в Каире, на кладбище греческого православного монастыря.

– А…судьба медальона? – спросила вдруг гостья, которая так и не сделала в своем блокноте ни единой пометки, – слушала, боясь прервать хозяйку.

Та помолчала, поднялась и ушла в соседнюю комнату. Минуты через две вернулась. С руки ее свисал, покачиваясь на длинной цепочке, небольшой медальон, обсыпанный мелкими бриллиантами: старое золото, неразборчивый вензель… Изящная вещица, залог счастливой судьбы…

ЗОЛОТАЯ КРАСКА

Это был типичный завсегдатай пивной: красномордый, высоченный, с толстой шеей и победоносным брюхом…Короче, он был таким, каким хочется представлять себе немецкое пивное быдло. И прицепился к нам именно в пивной, огромной мюнхенской пивной, простиравшейся чуть не на сотни метров. Наша местная приятельница, уроженка вообще-то Днепропетровска, но ныне патриотка Германии, уговорила нас взять по кружке пива – здесь, мол, особое место, и пиво везут из какой-то особой пивоварни.

Мы стали обсуждать сорта, повышая голос, чтобы перекричать франтоватое, в баварских шляпах с перышками, трио в центре зала – скрипка, контрабас и барабан без продыху лупили что-то бравое, чему горласто подпевали румяные *пивцы* с кружками…И тогда, от шумной компании за соседним столом отделился утес – он казался особенно высоким, потому, что мы сидели, - и с широченной улыбкой направился к нам. И если б не эта улыбка, явное послание добрых намерений, то впору было бы испугаться его буйволиной мощи.

Тут надо кое-что пояснить…

Эта встреча произошла лет двадцать назад, в нашу первую поездку по Германии. И длилась она минут сорок от силы, и разговор был коряв, отрывист, иногда мы просто перекрикивали друг друга, если трио вступало со свежим энтузиазмом. Вообще, то первое путешествие по Германии, с заездом в Гейдельберг, Берлин и Франкфурт, Нюрнберг и Дрезден, с десятком выступлений перед новой публикой, с музеями и невероятными парками и дворцами, было настолько сильным впечатлением, что сейчас остается только удивляться: что заставило меня записать тем же вечером рассказ нашего случайного собутыльника? что заставляло меня время от времени

вспоминать его и думать о нем, а главное, – что заставило сейчас извлечь его буквально из праха распавшейся на горстку ветхих страниц записной книжки, и отвести законное место в цепочке этих коротких историй?

Господи, да он с трудом изъяснялся по-русски! А наша приятельница с еще большим трудом балакала по-немецки, хотя и была лучшей ученицей в их группе по изучению языка.

Понятия не имею, почему это въелось в меня: дымная полутемная пивная, красномордая глыба рядом, попытки связать непослушные слова…

Само собой, я не стану буквально изображать его языковые потуги. Он оказался восточным немцем, родившимся еще до войны, после войны учил русский язык. Он и подсел к нам потому, что услышал знакомые слова. И все повторял восторженно: Россия, Россия…– будто лучшая часть его жизни прошла в каком-нибудь Ленинграде.

– Очевидно, он – дурак, – пожав плечами и отвернувшись, сказал мне муж. – Что за восторги перед страной, искалечившей его детство?

И будто из упрямства перебил собеседника и поправил: мы вовсе не из России, а из Иерусалима, столицы Израиля. Тот ошалел. Восхитился…Это тоже нам знакомо, подумала я, – радостное участие немцев в благобытии страны, созданной по причине и по следам их преступлений.

Но этот…Я пригляделась: у него была симпатичная физиономия трудяги. Он сразу доложился, что по профессии он – шофер-дальнобойщик, и в данный момент отдыхает между рейсами. А завтра с утра – тю-тю-у-у! – возвращается в Дрезден на своем трейлере.

Свою историю, свою *настоящую* историю стал рассказывать сходу, без предисловий, будто торопясь вывалить все и вернуться к товарищам. Так и запомнила его: взлохмаченный, с потным красным лицом, время от

времени он отмахивается большой ладонью от призывов собутыльников – вернуться за стол, и то и дело запинается в попытке подобрать правильное русское слово.

Пересказываю буквально так, как двадцать лет назад записала в блокноте, чуть ли не конспективно. Почему-то кажется, что таким вот, бедноватым и торопливым, слогом правдивей всего предстает судьбинная мощь его простого рассказа.

Первым браком его отец женат был на еврейке. Молодыми были, влюбились друг в друга, дело нормальное. Но не поладили, очень уж разными были, и разбежались. Мало ли бывает! Отец женился вторично, уже на немке, и через год родился он, Вилберт, - да, приятно познакомиться…

И вот, когда Гитлер пришел к власти и все это началось,…словом, когда по-настоящему запахло жареным, однажды ночью отец молча ушел и вернулся не один, а с молодой женщиной, черноволосой, кудрявой, с огромными зелеными глазами, в блестящем черном плаще (шел сильный дождь!). И мать ее приняла. Мать была замечательным человеком, хотя и излишне прямолинейным. Он, Вилберт, тогда совсем был маленьким, года четыре, поэтому не следил за лицом матери, а жаль: сейчас дорого бы дал, чтоб посмотреть, как эти две женщины друг друга разглядывали.

Отец помог той спуститься в подвал и – знаете что? – до самого конца войны Эстер, – ее звали Эстер, – из подвала не выходила. Она просидела там все эти годы! Все годы войны отец и мать Вилберта прятали у себя в подвале еврейку. Родной брат отца, Клаус, тот был настоящий наци, служил в гестапо, знал, что брат прячет свою первую жену, но не выдал…А когда Вилберт подрос, ему стали поручать носить ей еду. И он справлялся. Лестница была крутовата, но он же взрослый, почти мужчина, и не боится крутизны и темноты! К тому же, там, в подвале горела

лампочка, и хотя Эстер стала бледная, как смерть, и ее огромные глаза в полутьме так странно светились, он совсем ее не боялся. Наоборот: страшно к ней привязался. Они очень подружились.

– Мы с ней были ближе друг к другу, чем я с матерью… – сказал он.

Эстер в молодости закончила академию искусств, участвовала в выставках. Она писала небольшие пейзажи, пока не…словом, до всего этого дерьма. В подвале очень тосковала без дела, говорила, что это – самое трудное: руки без работы ноют, болят по-настоящему. Тогда Вилберт украл для нее золотую краску. Просто спер, прости Господи! В их церкви неподалеку, во Фрауэнкирхе, в подсобке работал мастер, подправлял то и сё, какие-то завитки на алтаре, на деревянных хорах. Уходя на обед, так все и оставлял. Надо было так украсть, чтоб не заметно. Больше всего было банок с золотой краской…и Вилберт не то, чтобы грабил мастера, а ак…подворовывал. Подкрадется, снимет крышку с ведра и зачерпнет в баночку. Зато бумаги было навалом! Покойный дед до войны владел писчебумажным магазином, и ее много осталось – хорошей толстой упаковочной бумаги…Эстер писала и писала золотой краской свои пейзажи: золотые деревья, золотое озеро, золотой мостик над ручьем…

И знаете, она пересидела фюрера! Когда пришли советские войска, выползла из подвала, стала получать продовольственные карточки и кормила их всех – всю семью. Они и выжили за счет этих продовольственных карточек.

– Мои родители умерли рано, – говорит он. – А вот Эстер дожила до восьмидесяти девяти и умерла совсем недавно. И всю жизнь была для меня самым близким человеком…

Конечно, работала до последнего, писала акварели – пейзажи, в основном. Была известным художником. Но,

знаете что? Никогда больше не использовала в работе золотую краску. Зачем? Другой полно, всякой-разной. Все ее пейзажи такие прозрачные, легкие, – прямо ангельские. Словом, искусствоведы и критики знали Эстер именно по этим невесомым пейзажам.

После ее смерти, – а Вилберт, само собой, остался единственным наследником, – после смерти в мастерскую Эстер хлынули эксперты музеев и галерей.

– Увидели ее золотые подвальные пейзажи – чуть с ума не сошли! Она ж их никогда не выставляла, не хотела. Говорила, это совсем особый, нетипичный этап в творчестве. Вцепились, давали огромные деньги. Я отказался… И потом всё письма слали, с музейными печатями да гербами, подсылали каких-то своих гонцов, увеличивали сумму, пытались уломать. Но я – на-а-йн! Я не продал! Я развесил их по всему дому – пусть сияют! Золотой лес, золотое озеро, золотой собор…

– Я шофер, дальнобойщик, – добавил он, и кружка в его рыжей волосатой лапе казалась небольшой чашкой. – Дома не бываю по пять-шесть дней. А когда возвращаюсь и вхожу к себе, особо, если полдень и солнце в окна, навстречу мне – волны золотого света!

Дина Рубина *родилась в Ташкенте в семье художника. Окончила Ташкентскую консерваторию. Репатриировалась в Израиль в 1990 году. Она – широко известная писательница, автор более 30 книг. Их общий тираж превышает полтора миллиона экземпляров.*
Лауреат нескольких престижных литературных премий. Произведения Рубиной переведены на многие иностранные языки.
Она член СП СССР, международного ПЕН-клуба, Союза русскоязычных писателей Израиля. Живет в Иерусалиме.
Постоянный автор журнала "Время и место".

ВЛАДИМИР МАТЛИН

ФАЛЛОС

Пьеса в трех сценах

Место действия – кампус штатного университета на Среднем Западе США.

Время действия – наша эпоха, февраль месяц.

Действующие лица

Декан Монтгомери
Профессор Цвики
Начальник охраны Джонсон
Секретарша Линда
Студентка Эйми Ди Лука
Студентка Триш О'Брайен
Студент Джек Уолтерс
Студент Пак Чен Сен
Студентки

Первая сцена

Кабинет декана, обставленный как все на свете кабинеты и украшенный портретом Нелсона Манделы. Декан Монтгомери, сидя за письменным столом, дает по переговорнику указания секретарше.

Декан. ... и сразу же проведите ее ко мне в кабинет. Слышите, Линда? Сразу. Понятно? Что? Это не имеет значения: кто бы там у вас ни сидел и кто бы тут у меня ни сидел, ее – сразу же, вне очереди. Понятно или снова повторить? А сейчас пусть войдет начальник охраны.

В кабинет входит Джонсон, огромный немолодой негр в униформе охранника.

Декан *(сидя за столом)*. Пожалуйста, мистер Джонсон. Прошу садиться. *(Джонсон садится напротив декана.)* Я, конечно, в курсе дела... я имею в виду эту неприятную историю. Очень, очень неприятную. Но я бы хотел

услышать все непосредственно от вас, поскольку вы были первым, кто обнаружил это безобразие. Пожалуйста.

Джонсон (*ерзает на месте, прокашливается, чешется, потом несмело выдавливает*). Так я же говорил, сэр. Еду, понимаешь, а он там стоит...

Декан. Пожалуйста, подробнее: где, когда, при каких обстоятельствах. Тут все имеет значение, так что прошу вас...

Джонсон. Ну я всегда объезжаю кампус на своем джипе после полуночи. А это было часов... да около часа уже было. В прошлый вторник, да. Я, понимаешь, свернул направо — туда, к женскому общежитию, гляжу: что такое? Стоит. Знакомый, понимаешь, вид... *(Джонсон разражается громким смехом. Смеется он неожиданно тонким, пронзительным голосом.)*

Декан *(недовольно)*. Мистер Джонсон! Прошу вас, мистер Джонсон. Здесь нет решительно ничего смешного, позвольте вам заметить. Весь женский преподавательский состав и студентки возмущены этой антиженской выходкой. У нас могут быть очень крупные неприятности. Мне совершенно не до смеха.

Джонсон. Прошу прощения, сэр, я понимаю. Уж больно хорошо сделан. Похож. И как эти паршивцы так здорово скатали его из снега?

Декан *(сухо)*. Вы кого-нибудь видели на месте события?

Джонсон. Нет, сэр, никого. Я рассмотрел следы, но и это ничего не дает: следы ведут к дорожке и пропадают. Понятно: они вышли на дорожку – и, понимаешь, бегом к себе в общежитие.

Декан. А вы сделали попытку проследить, может, кто-то возвращался в мужское общежитие?

Джонсон. Так точно, сэр. Я прямо на джипе рванул к мужскому общежитию. Никого не обнаружил, но осмотрел все окна, все огни погашены, а одно окно, понимаешь, светится. Я посмотрел по плану – в шестнадцатой комнате. Ну, на другой день, когда, понимаешь, шум поднялся, мы с

главным администратором вызвали этих ребят из шестнадцатой комнаты. Один китаец, Пак Чен Сен...

Декан. Это корейское имя.

Джонсон. Может, кореец, кто их разберет... Да, а второй белый, из Нью-Джерси, Джек Уолтерс. Ну, мы их допрашивали, допрашивали – ни в чем не сознаются. Мы, говорят, знать не знаем никакого снежного члена, мы, говорят, пиво пили в баре, вернулись поздно, около часу, и спать легли. Никакого снежного члена...

Декан *(прерывает)*. Мистер Джонсон, могу я вас попросить выражаться иначе? «Член» – это звучит грубо, а для женского слуха даже оскорбительно.

Джонсон. Правда? Извините, сэр, никогда не подумал бы, что для женщины... Как же мне называть его?

Декан. Ну, можно сказать «мужской половой орган». Я лично пользуюсь принятым в литературе греческим словом фаллос.

Джонсон. Фаллос? Красиво звучит, важно так. Ладно, можно по-гречески. По мне, как ни скажи, а член все едино остается членом.

Голос секретарши по переговорнику:

– Профессор Цвики здесь, хочет вас видеть, сэр.

Декан *(суетливо)*. Пожалуйста, пригласите в кабинет. *(Джонсону.)* Будьте любезны, пересядьте вон туда, в то кресло. В ходе разговора с профессором Цвики я, возможно, задам вам какие-то вопросы – пожалуйста, отвечайте коротко и без этого... без члена.

В кабинет входит профессор Цвики, женщина неопределенного возраста и неопределенной внешности. Декан вскакивает из-за стола, бросается ей навстречу:

Декан. Прошу вас, профессор, очень рад вас видеть. Сюда, пожалуйста, в это кресло, вам здесь будет удобно.

Цвики, холодно поздоровавшись с деканом, садится в кресло. Декан садится за стол. Цвики резко поднимается со своего места. Немедленно вскакивает и декан. Цвики

опускается в кресло – садится декан. Цвики встает – встает и декан.

Цвики. Позвольте узнать, сэр, почему вы встаете?

Декан *(смущенно)*. Вы встаете, профессор, и я встаю.

Цвики. Вот именно! А почему? Затрудняетесь сказать, тогда я вам скажу: потому что я женщина, а женщине следует оказывать знаки уважения. Так ведь? Знаки внимания. Главное тут – знаки, то есть нечто условно-символическое, не передающее подлинного отношения к объекту. Это и есть квинтэссенция мужского шовинистического отношения к женщине: внешние знаки внимания и животное хамство по существу. Мистер Монтгомери, я говорю все это не в ваш адрес, разумеется, я пытаюсь изложить здесь политически правильный взгляд на известное вам происшествие на нашем кампусе. Именно так я это понимаю: вот вам знаки уважения – пальто подать или встать, когда дама встает, а вот вам член под окна. Знайте свое место!

Джонсон *(сквозь смех)*. Член под окна... ха-ха... здорово!

Декан. Профессор, я полностью, стопроцентно разделяю ваше возмущение этим отвратительным поступком. Подобное не может иметь место в нашем университете. Поверьте мне, профессор, будет сделано все возможное, чтобы найти и строго наказать виновных. Никакого снисхождения! Мы с мистером Джонсоном (вы знакомы с мистером Джонсоном?) неустанно над этим работаем.

Цвики. Я надеюсь, вам удастся разобраться в этом деле, господа, но я хочу подчеркнуть, что наказать виновных – это недостаточно. Да, мистер Монтгомери, я затем сюда пришла, чтобы добиться большего, иначе мы и в будущем обречены видеть подобные выходки. Необходимы комплексные меры по изменению всей морально-политической атмосферы в университете. Такими мерами на первое время могло бы быть расширение занятий по женскому равноправию и положению женщины в обществе. Необходимо больше курсов, больше лекций,

более высокие кр*е*диты за эти предметы... Затем, я настаиваю на своей прежней идее: необходимо переоборудовать на кампусе туалетные комнаты, с тем чтобы они были одинаковы у мужчин и женщин. Одинаковые, то есть равные! Мужчины должны быть лишены этой привилегии – мочиться стоя. Медицина определенно утверждает, что никакой физиологической необходимости здесь нет, что мужчины могут превосходно мочиться сидя. Нетрудно понять, почему они настаивают на стоячей позиции: исключительно для того, чтобы унизить женщину, показать ей свое мнимое превосходство. С этим безобразием необходимо покончить!

Декан. Ваши пожелания, профессор, будут несомненно приняты во внимание.

Цвики. Это слишком расплывчато. Мне бы хотелось услышать что-то более определенное.

Декан. Я вас понимаю. Что касается расширения курсов по изучению положения женщины, то с будущего семестра мы...

Цвики. С будущего?

Декан. Но на этот семестр все программы составлены, расписания утверждены... Все поломать – нет, невозможно. Но в следующем семестре, я могу твердо обещать, будут расширены и введены...

Цвики *(перебивая декана).* А что насчет туалетов?

Декан *(мнется, разводит руками, пожимает плечами)*. Видите ли, профессор, это вопрос не моей компетенции, то есть я хочу сказать, что это зависит не только от меня. Это вопрос строительства, капитального переоборудования. Тут нужны немалые деньги. Поймите меня правильно, профессор, я целиком «за», можете не сомневаться в моей поддержке, но как я сказал...

Джонсон *(неожиданно из своего угла)*. Нельзя это делать – снимать писсуары в мужских сортирах. Зассут, понимаешь, весь кампус, увидите. Так забежал на полминутки, вынул, сделал свое дело, спрятал и пошел. А

если вы заставите их снимать штаны и садиться, они лучше будут на улице под кустом, старым способом... Весь кампус зассут.

Декан. Мистер Джонсон! Ваше мнение... э... э... Ваше мнение вы сообщите комитету по строительству и переоборудованию, когда он будет заседать. А сейчас, пожалуйста, прошу вас...

Джонсон. Как хотите, сэр, только я вас предупреждаю.

Вторая сцена

Тот же день. Профессор Цвики ведет семинар. В аудитории 6-7 студенток, среди них Эйми и Триш.

Цвики. Сегодня по программе и в соответствии с расписанием мы должны были рассматривать положение женщин в средневековой Европе. Однако некое происшествие в нашем университете заставляет меня отступить от программы и говорить с вами на более актуальную тему – об отношении к женщине сегодня и здесь. Да, в современном американском обществе, где, как нас заверяют, женщина пользуется всеми правами и всеобщим уважением. Давайте посмотрим, так ли это на самом деле. Недавнее происшествие в нашем университете показывает со всей очевидностью... Постойте, вы все, надеюсь, знаете, о каком происшествии я говорю? А? Вот вы... *(показывает на 1-ю студентку).*

1-я студентка. Э, э... я не уверена, что я знаю...

Цвики. Вы не знаете? Или вам просто неудобно об этом говорить? Хорошо, я понимаю. Кто наберется смелости и скажет об этом вслух?

2-я студентка *(несмело)*. Я думаю, я знаю... то есть я догадываюсь. Конечно, очень жаль, я понимаю всеобщее возмущение. Я только хочу сказать, что ребята все же старались, показали себя в лучшем виде, но вот не повезло...

Цвики. Минутку, что вы тут говорите? Что значит «в лучшем виде»?

2-я студентка. Ну, с лучшей стороны...

Цвики. Да о чем вы?

2-я студентка. Как о чем? О том, что наши проиграли Небраске одно очко на последних секундах. Все их теперь обвиняют: расслабились, говорят. А я считаю...

В аудитории вспыхивает скандал. Студентки кричат друг на друга: «Это безответственно!», «Это просто невезение!», «Они не виноваты!», «Они виноваты!», «Это с ними не в первый раз!», «Они зазнались!»

Цвики. Тихо! Прекратите крик! Лейдис, я к вам обращаюсь!

Крик постепенно стихает, студентки успокаиваются.

Цвики. Так вы, похоже, не в курсе дела. Этого я не ожидала. Хорошо, в двух словах, слушайте. Два дня назад ранним утром под окнами женского общежития была обнаружена... безобразная выходка. Скатанный из снега фаллос, понимаете? Все знают, что это такое?

Студентки переглядываются, хихикают.

1-я студентка. Да, знаем. Это член, мужской половой орган.

Цвики. Не совсем. Правильно сказать, фаллос – это изображение мужского полового органа, именно изображение. Оно было широко принято в древних религиях. Так вот зададимся вопросом: что оно символизирует, это изображение? Долгое время в науке господствовало мнение, что фаллос в глазах древних символизировал плодородие или, если взять шире, появление жизни. Никто при этом почему-то не подумал о том, что вагина представляла бы эти символы гораздо точнее. А дело в том, что не плодородие и не происхождение жизни символизировал фаллос, а совсем другое – всесилие мужчины в общественной жизни, его власть над женщиной. Вот что означает фаллос. И этот оскорбительный для женщины символ мы видим сегодня у себя в университете, причем не где-нибудь, а под окнами женского общежития. Яснее высказаться невозможно! Это

преднамеренное оскорбление женщин, демонстрация мужского шовинизма. Надеюсь, все это понимают?

Профессор Цвики обводит взглядом аудиторию. Студентки смущенно посмеиваются, переглядываются.

Триш. Но почему же обязательно преднамеренное оскорбление? Может, просто кто-то пошутил...

Цвики. Ничего себе шуточки! Это еще хуже, чем стоя мочиться. По-вашему, тоже шутка? Что он хочет показать, когда мочится стоя, а?

Триш. Не знаю. Может, ему так удобней.

Цвики. Всякому известно, что сидеть удобней, чем стоять. Нет, это намеренная демонстрация мужского превосходства. Мнимого, конечно. И вот в сегодняшней Америке, которую всерьез считают передовой страной, в этой самой Америке люди молодого поколения открыто демонстрируют свое презрение к женщине. Нет, уж если действительно окажутся виновными эти два студента, я добьюсь их исключения, можете не сомневаться. Между прочим, я являюсь членом специальной комиссии по рассмотрению этого дела.

Эйми. Какие два студента?

Цвики. Я пока не могу сказать: следствие еще продолжается. Но два подозреваемых уже есть. Они в тот вечер единственные, кто не спал в мужском общежитии. Есть и другие улики. Ну если окажутся они...

Триш незаметно отзывает Эйми в уголок.

Триш *(тихо)*. Ты не думаешь, что эти подозреваемые — наши ребята?

Эйми. Конечно, думаю. Очень возможно, что к ним прицепились. Ты помнишь, когда мы вернулись?

Триш. Примерно в полночь. Их могли видеть, когда они пришли. Свет зажигали в комнате...

Эйми. Какой ужас! Ведь если их заподозрят, они не открутятся. Слушай, мы должны что-то сделать.

Триш. Непременно! Она же уничтожит ребят ни за что...

Третья сцена

На следующий день в кабинете декана. Заседание специальной комиссии. Декан восседает за столом, рядом с ним профессор Цвики, поодаль в кресле устроился Джонсон. Посреди кабинета на раскладных стульях, как на скамье подсудимых, два студента: Пак Чен Сен и Джек Уолтерс.

Декан. Что-то у вас, молодые люди, концы с концами не сходятся. Один из вас говорит, что из бара вы пешком пришли. Четыре мили пешком? Трудно поверить. Другой говорит, что их подвез какой-то неизвестный благодетель. Почему бы вам не рассказать все, как было на самом деле? По крайней мере, меньше вранья будет.

Джек. Вы правы, сэр, в деталях наши показания расходятся, я понимаю, мы по-разному говорим, как попали домой, то есть в общежитие. На это есть причины. Но главное, что мы утверждаем с самого начала: мы этого не делали – точка! Мы не лепили из снега никакого изображения и не выставляли его возле женского общежития. А то, что мы не спали в час ночи, – что из того? Не спалось нам, сидели, разговаривали.

Пак. Позвольте мне, сэр! Я зря сказал, что пришел из бара пешком, это неправда. Но я сказал неправду, чтобы не называть здесь имя непричастного к делу человека. А остальное – правда. Мы этого не делали и не знаем, кто это сделал. Вот и все.

Цвики. Ну нет, не все. Далеко не все. Смотрите, что получается: в баре вы были неизвестно с кем, кто и когда привез вас в общежитие – неизвестно, что вы делали после этого – тоже неизвестно, но почему-то не спали в час ночи... Одни во всем общежитии не спали.

Джонсон. Я как обнаружил около женского общежития этот... ну, мужской фаллос, сразу поехал в мужское общежитие посмотреть, кто не спит. Одни вы, ребята, не спали. Это факт.

Джек *(теряя выдержку)*. Ну и что из того, черт подери?! Это же не доказательство!

Декан. Спокойнее, пожалуйста. Прошу следить за своими выражениями. Один этот факт – что вы не спали – сам по себе мало что значит, может и так. Но все вместе, все эти утаивания, недоговорки и искажения, все вместе они красноречиво говорят о том, что здесь что-то нечисто. У комиссии создается впечатление...

В этот момент по переговорнику раздается громкий голос секретарши:

– Мистер Монтгомери! Прошу прощения, здесь две студентки, просто рвутся к вам в кабинет. Говорят, срочное дело.

Декан *(сдерживая раздражение)*. Вы же знаете, Линда, что у меня заседание. Какого черта...

Голос секретарши: Они говорят, что по этому самому делу... насчет члена. Они говорят, что знают, кто это сделал.

Немая сцена: декан смотрит на Цвики, Цвики на декана.

Голос секретарши: Так впустить их или как? Мистер Монтгомери! Они тут рвутся, я их еле удерживаю...

Декан. Подождите, Линда, мы совещаемся по этому вопросу.

Джонсон. Я считаю, нам надо поговорить с ними... теми, кто там за дверью. Может, и вправду что-то знают.

Декан не успевает ему ответить, в кабинет врываются Эйми и Триш, продолжая в дверях рукопашную схватку с секретаршей.

Эйми и Триш *(перекрикивая друг друга и секретаршу)*. Это не они! Эти ребята не виноваты! Мы знаем, кто это сделал!

Декан. Ладно, Линда, мы решили поговорить с ними. *(Студенткам.)* В чем дело, лейдис? Почему вы шумите?

Триш *(переводя дыхание)*. Они не виноваты... эти двое не виноваты. Мы все вам расскажем.

Эйми. Пожалуйста, послушайте нас.

Декан. Прежде всего, не кричите, говорите спокойно и по очереди.

Эйми. Мы студентки, живем в общежитии на кампусе.

Цвики. Я их вижу на своих занятиях.

Эйми. Меня зовут Эйми Ди Лука, а ее...

Декан. Может, она сама скажет, как ее зовут?

Триш. Да. Меня зовут Триш О'Брайен. Я живу с ней в одной комнате, а машина у меня запаркована рядом с общежитием.

Цвики. При чем тут машина?

Триш. Ну как же. Мы на машине ездили в тот вечер в бар.

Декан. Кто «мы»?

Эйми. Мы вчетвером: Триш, я и ребята – Пак и Джек. Туда на машине и обратно. Триш нас везла.

Джонсон. Ага, все понятно. Сейчас они алиби сделают этим двум ребятам. Ну, хитры *(хохочет)*...

Декан. И как это все происходило?

Эйми. Да очень просто. Мы еще утром сговорились, что поедем вчетвером посидеть в баре, выпить пива. Часов в девять встретились около нашего общежития и поехали в бар. Ну там музыку слушали, пива выпили... понемногу, Триш вообще одну кружку – она за рулем.

Цвики *(раздраженно)*. Это никого не интересует, что вы там делали. Скажите лучше, в котором часу вы вернулись.

Триш. Примерно в половине двенадцатого. Попрощались, и ребята пошли к себе. Мы их больше в тот вечер не видели.

Джонсон. А это во сколько было – ребята к себе пошли?

Триш. В четверть первого приблизительно.

Джонсон. Значит, вы прощались сорок пять минут?

Триш *(смущенно)*. Да, возможно.

Декан. Получается такая история: в четверть первого вы разошлись по домам и больше ничего не знаете. Вы были у себя в комнате и ничего не видели. Допустим. Тогда как вы можете утверждать, что они, эти двое, не вышли из

дома и не сделали то, что они сделали? Только говорите чистую правду, как перед законом.

Эйми. Мы это знаем наверняка: не они это сделали.

Цвики. Можно спросить, откуда такая уверенность?

Триш. Потому что это сделали мы – я и Эйми.

Эйми. Да. А мальчишки ни при чем.

Члены комиссии замирают визумлении. Паузу нарушает Пак.

Пак. Так это вы? А я ломаю голову, кто бы это мог быть. Ведь в нашем общежитии все спали.

Джек. Вот так номер! Ну вы даете...

Он начинает хохотать, за ним Пак, за ними студентки. Все четверо молодых людей прямо корчатся от смеха.

Декан *(приходит в себя)*. Прекратить смех! Нашли повод для веселья. Это хулиганство! Сейчас же замолчите!

Студенты с трудом замолкают.

Цвики. Нет, это невозможно. Этого просто не может быть. Зачем женщина будет делать такую гадость? Зачем женщине фаллос? Нет, здесь что-то не так.

Эйми. Все так, профессор Цвики. Это мы с Триш. Почему? Честно, даже не знаю. Просто хотелось посмеяться, настроение такое... Может, от пива. Я лично очень жалею, что вышла такая история. Если бы я знала, ни за что не стала бы... Простите.

Цвики *(возбужденно)*. Но как можно? Как такое приходит в женскую голову?

Триш. Ну, мальчики ушли, а нам не хотелось идти спать. Мы стали валяться в снегу, кататься с горы... прямо так, на попке. Снег был липкий, у нас в Луизиане такого не бывает. Я стала катать снежный ком, а шар никак не получается, а получилась такая длинная, как колбаса. Эйми подскочила и поставила вертикально, на попа. И тут я увидела... Мы стали смеяться, а я взяла и такой... ну вроде венчик приделала сверху. А Эйми говорит: сразу понятно, что твой бойфренд родился не в Америке.

Цвики *(в истерике)*. Прекратите! Вы не в своем уме! Бесстыжие! Женщина не может себя так вести! Возмутительно!

Еще немного, и Цвики зарыдает... Декан выбегает из-за стола и подает ей стакан воды. Она отталкивает его руку.

Декан *(по переговорнику)*. Линда, принесите салфетку... ну как это? Бумажная такая... клинекс. Сейчас же!

Линда вбегает с бумажной салфеткой, но Цвики гордо отворачивается.

Триш *(виновато)*. Я все рассказываю по правде. Все-все начистоту, как перед законом... Прошу прощения, что так получилось. Я больше никогда не буду, обещаю.

Джонсон. Что ж, виновных мы вроде бы нашли. Девушки сами признаются, никто их не неволит. Тогда давайте решать, как их наказать, и дело с концом. Правильно?

Декан. Правильно. Виновные должны быть наказаны. *(Вопросительно смотрит на Цвики.)*

Цвики. Разумеется. Однако у меня есть ряд соображений по данному поводу, которые я хотела бы обсудить внутри комиссии как таковой. Я имею в виду: только между членами комиссии, без посторонних, понимаете?

Декан. Да-да, я понимаю, сейчас мы... *(Обращаясь к студентам)*. Молодые люди, я прошу вас выйти на несколько минут в приемную и...

Линда *(появляясь в дверях)*. Сэр?

Декан. Последите, чтобы эти четверо никуда не уходили из приемной. Мы их позовем, когда они понадобятся.

Студенты в сопровождении Линды выходят из кабинета.

Цвики. Господа, как известно, это дело по поводу снежного фаллоса было начато по моей инициативе. Я считала и продолжаю считать, что это возмутительная выходка, оскорбительная для женщин. Однако в свете новых фактов, установленных нашей комиссией, вопрос об

ответственности приобретает, позволю сказать, некое новое звучание, получает другую перспективу. Сейчас объясню, что я имею в виду. Надеюсь найти у вас понимание и поддержку. *(Несколько секунд сосредоточенно смотрит в потолок, собираясь с мыслями.)* Как вы, наверное, слышали, те предметы, которые я преподаю в университете, вернее сказать, те идеи, на которых построены эти предметы, встречают постоянное сопротивление на кампусе и за его пределами. Конечно, никто сегодня не выступает в открытую против женского равноправия или принципа равенства, однако буквально на каждом шагу мы ощущаем насмешливое, даже саркастическое отношение к этим идеям, желание осмеять их, представить в искаженном виде. Одна из любимых «теорий» *(Цвики показывает пальцами кавычки)* — это что движение за женские права возникло среди неудачниц, которые не смогли в своей жизни найти мужчину, – как говорят, «ухватиться за фаллос». Откровенно циничная идея, но она очень популярна среди политически отсталых людей. И вот об этом мне здесь приходится думать, хоть и очень противно. Поскольку, как установила наша комиссия, выходку со снежным фаллосом допустили не мужчины, как предполагалось, а женщины, этот факт только даст новые возможности политически ограниченным дуракам глумиться над нашими идеями. Вы понимаете меня? Поэтому я вынуждена просить вас, господа, закончить работу комиссии без всякого официального решения, а главное, сохранить все в тайне. Надеюсь, вы понимаете, насколько это серьезно.

Декан *(растерянно)*. Как же получится – в тайне? Мы-то, конечно, все понимаем и распространяться не станем, верно, мистер Джонсон? Но как быть с этими четырьмя студентами?

Цвики. Им нужно объяснить, что болтать – не в их интересах. Так они выходят сухими из воды, а если об этой истории узнают на кампусе, их накажут за непристойность

– неважно, что они женщины. Вышвырнем из университета, и все!

Джонсон. Уж это-то они поймут. Не сомневаюсь.

Декан. Значит, все согласны с профессором Цвики. Тогда не будем терять времени и закончим поскорей заседание. Линда! Пропустите ко мне студентов... этих четырех.

В кабинет возвращаются Джек, Пак, Триш и Эйми. Взволнованно толпятся посреди комнаты.

Декан. Значит так. Комиссия с неопровержимостью установила, что хулиганскую выходку, выразившуюся в воздвижении на кампусе снежного фаллоса, совершили студентки Амалия Ди Лука и Патриция О'Брайен. За циничное оскорбление общественной морали эти студентки подлежат исключению из университета. *(Внимательно смотрит на студенток, словно оценивая силу произведенного впечатления. Девушки еле стоят на ногах, поддерживаемые друзьями.)* Однако... Однако, принимая во внимание их хорошую успеваемость, хорошее поведение в прошлом...

Цвики. ...и признание своей вины.

Декан. ...и признание своей вины, комиссия находит возможным наказание к упомянутым студенткам применить условно до окончания ими полного курса университета. Понятно?

Триш. Нет.

Эйми. Непонятно.

Декан. Сейчас разъясню. Вас исключат в любой момент, как только станет известно, что вы нарушили условие: держать в тайне, никому не говорить, кто совершил хулиганскую выходку с фаллосом.

Цвики. Вы должны иметь в виду, что всякое распространение этих фактов есть не что иное, как распространение общественного оскорбления. За это вы будете наказаны уже безусловно. Это относится и к вам двум, и к ним двум. Да, ко всем четверым. Ясно?

Джек. Будем молчать, как немые. Спасибо за девочек. Они чуть не умерли со страха.

Эйми. Мы до сих пор никому не рассказывали, а тем более теперь, под страхом исключения.

Пак. Конечно, чем тут гордиться?

Триш. Мы бы и вам не рассказали, но когда узнали, что за нас будут отвечать ребята...

Эйми *(дергает ее за руку)*. Не наговори лишнего. Пошли, пошли...

Декан. Да, можете идти.

Цвики. Я бы только хотела поговорить наедине с мистером Уолтерсом. Да, с вами, Джек. Это уже вне рамок работы комиссии, а просто в частном порядке.

Декан *(стараясь не показывать удивления)*. Конечно, сколько угодно. Вы можете даже остаться здесь, мы все уходим.

Все покидают помещение, остаются Джек и профессор Цвики. Она приближается к Джеку и начинает внимательно рассматривать его лицо. Парень смущен такой бесцеремонностью.

Цвики. Тут было сказано вскользь, кажется, в отчете Джонсона, что вы из Нью-Джерси.

Джек. Да, мэм, я из Нью-Джерси.

Цвики. Из какого города, позвольте узнать?

Джек. Из Оранджа.

Цвики. Ист-Орандж?

Джек. Точно, мэм, Ист-Орандж. Вы там бывали?

Цвики. Я там родилась и провела юность.

Джек. *(Искренне рад.)* Что вы говорите? Я тоже там родился, и мой отец, и мой дед, кажется.

Цвики. А как зовут вашего отца?

Джек. Дик. Я хочу сказать – Ричард Уолтерс.

Цвики *(не в силах скрыть волнения)*. Боже, я так и подумала. Ты очень похож на отца. *(Вынимает из сумочки очки и, водрузив их на нос, еще ближе придвигается к Джеку.)* Особенно глаза. Боже, его глаза!.. Губы,

подбородок... *(Отступив на шаг.)* Слушай, а кто твоя мать? Ее зовут Линн?

Джек. Да, Линн. Так вы знаете и маму?

Цвики. Маму твою я не знаю. А вот с отцом мы вместе учились в Лонгфелло-хай скул.

Джек *(радостно)*. Я тоже кончил Лонгфелло-хай скул!

Цвики. И дружили с ним, очень близко дружили. Да, очень близко... И если бы не эта самая Линн, вся бы моя жизнь сложилась иначе. И жизнь Дика тоже. Ты знаешь, что ты родился через шесть месяцев после женитьбы твоих родителей?

Джек *(настороженно)*. Мама – дальняя родственница отца, ее девичья фамилия тоже Уолтерс. Так что они знакомы всю жизнь.

Цвики *(язвительно)*. Может, знакомы всю жизнь, а близко познакомились они спьяну на семейном сборище. Она сразу, конечно, забеременела. К тому времени мы с Диком дружили уже немало лет. Мы строили совместные планы на будущее, на учебу. Он стал бы профессором, не сомневаюсь. А так он вынужден был очень рано жениться и пойти работать, чтобы кормить семью.

Джек *(сердится)*. Ничего не вынужден. Они женились по любви и до сих пор любят друг друга. У них, не считая меня, еще трое детей, если хотите знать: еще два сына и одна дочка, три года. Мама порядочная женщина, ее все в городе уважают. *(Выразительно смотрит на профессора Цвики.)* И красивая, очень красивая. Что же удивительного, что папа выбрал ее?

Цвики. И ты бы на его месте сделал то же самое? Конечно! Красивая – это важнее всего. Грудь бугром, задница круглая, личико смазливое... Животные, вот кто вы, мужчины. Просто скоты! *(Заливается слезами.)*

Джек. Профессор... Мэм... Не расстраивайтесь. Это неправда, будто мужчинам всё равно, что у женщины в голове. Вот я с Эйми дружу – знаете, какая она умная? Вы только послушайте её на семинаре по философии... Она

умнее всех. А по истории!.. Я горжусь ею. Право, мэм, вы это зря...

Цвики *(сквозь слезы)*. Не рассказывай Дику... ну, про все это. Я так и не встретила такого, как он... *(Опять рассматривает Джека.)* Ты ведь мог быть моим сыном. Дай я тебя разгляжу. *(Берет в ладони его лицо.)* Боже, до чего похож! О, Дик! О, Дик! О, Дик! *(Рыдает...)*

конец

Владимир Матлин *до эмиграции жил в Москве. Окончил Московский юридический институт, работал адвокатом, переключился на журналистику. Был редактором и сценаристом на Центральной киностудии научно-популярных фильмов.*
Эмигрировал в Америку в 1973 году. Работал редактором в русском отделе "Голоса Америки", вёл несколько программ под псевдонимом Владимир Мартин.
Писать и систематически публиковать рассказы начал в 80-х годах, печатался в зарубежных русскоязычных изданиях, а с 90-х годов и в России. В издательстве "Захаров" вышли семь сборников рассказов и повестей.
Живёт в пригороде Вашингтона.

МАРК ВЕЙЦМАН

ИЗ НОВЫХ СТИХОВ

ПАМЯТИ РИТАЛИЯ ЗАСЛАВСКОГО

Для поэтов с судьбами печальными,
Сгинувших, обиду затая,
Ты придумал рубрику журнальную
«Возвращенье из небытия».
И в пучину лет закинув удочку,
Выловил копавших глубоко
Винтмана, Гальприна и Людочку*,
Люмкиса, Юркова и Редько –
Всех не перечислить, к сожалению.
Звёздный свет скрывают облака.
Новые приходят поколения,
Память у которых коротка.
Грёзы романтические минули.
Роза не грустит о соловье...
Как бы, чего доброго, не двинули
Все они назад, в небытие.

*Людмила Титова

ТРОПОЙ ФЕДЕРИКО

1

Здесь у больных и старых
В неразберихе танцев
Против убийц поджарых
Нет ни малейших шансов.

В лапах тумана волглых
Гаснет любая искра.
Звук замирает долго.
Жизнь утекает быстро.

На земляной постели
При дефиците света
Плоти не надо цели,
Крови не надо цвета.

2

Кто это потакает
Нищей струне ночами?
Руки её втекают
В млечный поток ручьями,

Волосы голубые
Пахнут колючим дроком,
Губы – цветком тимьяна,
Сорванным ненароком,

Слёзы её прохладны,
Словно вода колодца.
Что она будет делать,
Если струна порвётся?

3

В мутной небесной дали –
Эхо земного крика.
– Как тебя, милый, звали?
– Кажется, Федерико.

Тучка бежит, как серна,
Дождь обещая, град ли.
– Ты ирреален?
– Верно.
– Ты гениален?
– Вряд ли.

РЕЦЕНЗИЯ
Случайные слова
В нечаянном порядке.
Сухая трын-трава
На выморочной грядке.
Убогости скудель
И холодность тороса.
Наглядная модель
Грядущего хаоса.

***
Полвека ждал беды
От смычки инфернальной
Державной лабуды
С реальностью банальной.

Теперь слежу, уныл,
За ходом и исходом
Всамделишной войны
С придуманным народом.

***
Трагедия в финале жизни краткой:
Оса вцепилась в муху мёртвой хваткой.
И в этом сопряженьи безобразном
Жужжат они дуэтом.
Но о разном.

***
– На этом корыте, опасно кренящемся,
Где радость открытий не светит трудящимся,
Зачем ты сулишь мне спасенье, пророчица?
– Затем, чтобы слишком с тобой не морочиться.

***
Всё слабей долбит желна
Загрубевшую кору.
Всё стремительней жена
Превращается в сестру.

Бытие отделено
От плетения словес.
Всё идёт на убыль, но,
К сожалению, не вес.

Иссякает сил запас.
Разъедает тело ржа.
Чем беспомощнее глаз,
Тем глазастее душа.

За Благининою вслед
Укрощая боль в груди,
«Горевать, – шепчу, – не след.
Ведь не н***а***долго, поди...»

УЛИЦА
Праздник нелюбви,
Сумерки морали.
Здания снесли.
Стены разобрали.

С будущим грешат.
К прошлому ревнуют.
Сдвинут?
Порешат?
Переименуют?

***
Лёгкой тучке в небе ласковом,
Для чего вам блефовать,

По системе Станиславского
Образ льдины создавать,
Полагая сверхзадачею
Отрицание добра?
Поздравляю с неудачею!
Я не верю вам!
Ура!

***

Туристочкам восторженным под стать
Записочки Создателю писать
И впихивать в пазы ограды Храма
Пристало ли потомкам Авраама
И Якова, тем более, что в них
Есть что-то от фальшивых накладных
И слёзных профсоюзных челобитных
По поводу путёвок дефицитных?
Неужто нет у нас иных путей,
Чтоб вырваться из матовых сетей,
Досадные осилив передряги?
Зачем же, изнурённый и больной,
Торчишь ты перед Западной стеной
И тянется рука к перу, перо – к бумаге?

Марк Вейцман *родился и вырос в Киеве. Окончил физико-математический факультет Черкасского пединститута и Литинститут им.Горького. Вейцман – поэт, прозаик, эссеист. Автор 13 стихотворных книг (в том числе для детей и подростков), увидевших свет в Москве, Киеве и Иерусалиме, и многочисленных журнальных публикаций. Лауреат нескольких литературных премий.*
Член Федерации писателей Израиля, куда репатриировался в 1996 году, и Международного ПЕН-центра.

ВИКТОР НОРД

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕДА-ЭПИКУРЕЙЦА

«МИШИГИНЕ…»

«Если я только узнаю, – говаривал дед, – если только я узнаю, что ты пошел по моим стопам… Я прокляну тебя, клянусь, прокляну тебя из могилы! Понял?»

Мне было четыре года. Или чуть меньше. «Понял, – с привычной готовностью отвечал я. – Я никогда, ни за что не буду врачом. Уж лучше я буду водолазом».

«То-то! – хмыкал дед удовлетворенно. – А теперь ложись-ка ко мне на колени – получать».

Я был ученый, знал, что положено делать. Я забирался к нему на колени, и улегшись на живот, подставлял зад. Была суббота, дед не ходил на дежурство, и по субботам мы с двоюродной сестрой должны были получать по заднице за всю неделю. Если успевали достаточно набедокурить – хорошо, если случайно вдруг нет – тогда «авансом». Шлепал дед не больно, даже не спуская нам штаны, исключительно в воспитательных целях. При этом приговаривал: «На-на-на-на-на! – еще?» – «Еще, - привычно просили мы, зная что за неделю успеем проштрафиться. Он шлепал еще несколько раз, потом решительно говорил: «Будя!» – и мы должны были подходить к его руке, и говорить: «Спасибо, дедушка, что ты учишь меня уму-разуму». Таков был обычай.

Комментируя этот обычай, бабушка шептала себе под нос, но так, чтобы всем, кому надо, было слышно: «Мишигине…»

Дед был, что называется, чудаком. Немало знавших его считали, что он слегка выжил из ума. Много позже, в Англии, я узнал, что слыть эксцентриком считалось особым шиком среди аристократии. Но в Киеве 1949 года

это было свойством совсем небезопасным: в стране разгоралась кампания против всего необычного, выходящего из привычных серых пристойных рамок. Каждый обязан быть *как все*. Все экстраординарное считалось *космополитизмом*, то есть прямым поклонением вражескому Западу. Особенно если тебе при этом выпало на долю быть евреем. Да еще ко всему – и врачом.

Дед происходил из большой богатой семьи, где из одиннадцати детей семь решили стать выкрестами. Глава семьи, барон Г. отнесся к этому равнодушно: их дело. Дед оставил все как есть: его, вольтерьянца, смешил сам факт смены одной религиозной доктрины на другую.

На идиш, «по-еврейски», он понимал только одно слово: «Мишигене!» Этому научила его бабушка; родом из местечка Бровары, она была младше дедушки на двадцать шесть лет и была уверена, что дед именно своими чудачествами ее и околдовал. Дед же звал ее исключительно ведьмой с Лысой горы, или Бабой Ягой – это позже, когда у них появились мы, внуки, называвшие ее *бабой***.** Этому была конкретная причина.

У бабушки действительно имелась слабость к колдовству. Она перед сном посыпала нас солью (против дурного глаза). Если кто-то из нас зевал – она требовала, чтоб зевнувший немедленно сплюнул через левое плечо, если чихал – через правое, и при этом что-то приговаривала малоразборчивым шепотом. А уж если случалось нам простудиться – каждые два часа надо было повторять: «У кошки – бол***и***, у собаки – бол***и***, а у Людочки – не бол***и***!»

Дед издевался над бабкиными предрассудками; он любил Вольтера, любую религию называл не иначе как *опиум для народа,* и нередко повторял, что в Америке, в каком-то никому из нас неведомом Сэлеме, бабке не поздоровилось бы от таких же *обскурантов*, как и она сама.

Бабка соглашалась: «Хорошо, Мося, хорошо…»: она не возражала быть ведьмой. Она ведь не была обычной русской колдуньей без зубов, с бородавкой на носу и метлой, о нет! Бабка была молодая и пухлая, как свежевыпеченный калач; в эпоху советских голубых панталон *с начёсом* она любила загадочно черное (выкрашенное ею самою!) шелковое белье, подводила брови жженной пробкой, а губы – карминным карандашом по особому контуру под названием *би-стинг*, в стиле звезды Клары Боу. За ней всегда не прочь были приударить дедовы коллеги-врачи, многие куда его моложе – да и немало бывших пациентов деда, любивших его навещать. Дед ворчал, что они «ходят кругами как акулы и принюхиваются», но ничего не предпринимал, чтобы такие визиты прекратить.

Очевидно, ему втайне нравилось, что его рыжеволосая белотелая Баба Яга пользуется такой популярностью.

Совсем забыл упомянуть: дед был чудовищно близорук. Про него шутили, что этот доктор стирает носом собственные рецепты, когда их выписывает. Сколько помню его, он всегда носил пенснэ на особых «гигиенических» французских пружинках, или старые золотые очки, глубоко врезавшиеся в переносицу. Особые стекла – комбинированный близорукий астигматизм, по сфере и цилиндру различный для правого и левого глаза, для него специально изготовливали в Кремлевской лечебнице ЦЛК, бывшем Лечсанупре.

И то оттого только, что сам он служил там замзавом отделения. Только много позже я наконец начал понимать, отчего дед всегда двусмысленно ухмылялся, упоминая новое название его службы – *цээлка*…

Насколько близорук, настолько был дед и ревнив. Можете представить себе такое сочетание. Это при трудном его характере было похлеще, чем мужчине быть

толстым и лысым коротышкой. Но дед был огромного роста, и ревность его объяснялась тем, что с ранней молодости он и сам любил – я чуть было не сказал, побегать, но нет! – приволокнуться за юбками. Бегать при своей близорукости он конечно не мог – ходил он медленно, с неизменной тросточкой, чтобы не споткнуться на булыжниках крутых киевских улиц. Однако любую привлекательную особу тут же замечал, какого бы возраста она ни была. И никакой астигматизм тут ему не мешал: дед объяснял это острым периферийным зрением, которое якобы компенсировало врожденные недостатки его хрусталиков.

«Там, слева на скамейке, гляди-ка, – бывало, говорил он мне, – *аккуретная* девочка, а?» Так дед определял понравившихся ему девушек.

«Да, ничего вроде, – солидно соглашался я, хотя на самом деле и не знал точно, о ком речь: – Надо будет, пожалуй, выписать ей путевку в Ворзель».

«Куда-куда??»

«В Ворзель». – Такой комментарий я подслушал у деда на работе, когда его приятель-гинеколог соблазнил свою пациентку: «…сначала, представьте, выписал ей путевку в санаторий Ворзель, потом подъехал туда якобы проверить, как действуют воды, задержался на двое суток, потом – ушел от жены и двоих детей, а она от мужа, а уже через месяц, представьте, они рассорились со скандалом и оба остались *на бобах*…»

«И чего он в ней нашел необычного, – недоумевал дед, – это при его-то специальности… Ну повеселились бы quantumsatis там в санатории – и ладно…Merde!»* Ругался дед исключительно по-французски; как уже упоминалось, на идиш он не говорил. Очень редко – по-польски: «Псякрев!» и еще, на непонятном уже никому языке: «*Саперлипаппет!*»

«Запомни, – обращался он ко мне: – даже самая незаурядная женщина не может дать больше того, что у

нее есть. Особенно – гинекологу. Это я тебе как специалист говорю».

«Понял, – басом отвечал я, и дед довольно хмыкал: « То-то…»

«И вообще, – развивал он свою мысль, – женщина – это исчадие ада! Для тех, разумеется, кто не умеет владеть своими капризами и прихотями. Вот как ты, например, скандалил вчера посреди Крытого рынка: хочу лук со стрелами! Сейчас же, сию минуту! Хочу! Хочу!» (Дед произносил «хочу!» открыто, окая, с киевским акцентом, не по-московски *хАчЮ*, а *ХОчУ-У!)*

«Такого рода скандал – залог неуспеха у женщин, – запомни! Только терпение, бесконечное терпение приносит плоды».

И дед подробно, с совсем не детскими деталями, в который раз уж начинал пересказывать мне студенческий вариант басни Лафонтена о том, как ветер в бурю пытался сорвать плащ с дамы, но она лишь плотней в него закутывалась, в то время как ласковое тепло от солнечных лучей заставило ее саму раздеться донага.

«А вот у мамы в театре публику раздевает гардеробщица, – возражал я. – Они сами сдают ей пальто за номерок – и дают рубль на чай».

«Осла, trente-six cochons!** – сердился дед на мою тупость, – вырастешь – узнаешь, в чем суть этой притчи. В том, что криками «хочу!» ничего не добьешься! Запомни это пока. Это – главное». – «А ты, дедушка, – с бабушкой вы брат и сестра, или муж и жена?

«Что за глупость, муж и жена, разумеется. Ты же знаешь мою сестру, ее зовут Анюта».

«Значит, ты на бабушке сам женился? И мама, и дядя Яша – ваши дети? И бабушка сама их родила?»

«Разумеется, trente-six cochons…»

«И ты женился на бабушке, оттого что было холодно и не было другого выхода?»

«Что-о??!!»

«Ну, в смысле, оттого, что было холодно, а без этого никак нельзя было залезть к ней под одеяло?»

Дед уронил пенснэ, выронил палку, остановился, нагнулся и стал близоруко шарить по тротуару. Я поднял палку, чудом уцелевшее пенснэ и подал ему в руки.

«Qui… Merde!..то есть, тебе кто …кто сказал такую глупость? – от ужаса дед чуть не забыл, что со мной надо говорить по-русски.

«Твой сын, дядя Яша. Только он сказалне мне, а гостям…»

«Trente-six mille cochons! Merde! А что он еще говорил, не помнишь? Постарайся припомнить».

«Отчего ж, помню… Ну что ей не было и шестнадцати, когда вы познакомились, что ты ее старше был, в отцы, почти в деды годился. Он много еще говорил, что маму Женю бабушка родила в шестнадцать лет – и всего за пять минут. А в семнадцать – Яшу самого, и раньше времени. И что мама Женя за это дразнила его: «Недоношенный, семимесячный…», а он ел штукатуркусо стен, потому что ему не хватало *калицая*».

«Кальция, merde! У дяди твоего язык как у *двадцатимесячного*! И это все – клевета, глупость, выдумки, запомни! Удобные мифы! Она мне сама туфлей на ногу под столом нажимала. Каждый вечер! И руку мою из своей на прощанье вечно не выпускала. Я поймал созревший и уже падавший с дерева плод! Спас ее семью, можно сказать, от худшего: к ней вовсю местный телеграфист липнул, они уже целовались, я уверен, если не больше…,так и запомни, ясно? Но чтоб никомуоб этом – ни слова!”

“Понял, – басом сказал я.

“То-то! – проворчал дед, явно удовлетворенный моей сообразительностью.

ДЕПОРТАЦИЯ

Дед, однако, в глубине души прекрасно понимал истинную причину своей дикой ревнивости. Дело в том, что однажды ему предложили в двадцать четыре часа покинуть пределы страны, в которой он обучался своей профессии. Страной этой была Швейцария, точнее, кантон Во. Дед обучался там медицине в Университете Лозанны, и был лучшим студентом в своей группе инфекционных заболеваний, Major de promotion. Курс он полностью там закончил, защитился, оставалось только дождаться формального присуждения степеней доктора медицины и философии.

Тем скандальнее было требование полиции кантона Во, чтобы подданный Российской империи, вероисповедания иудейского, г-н Гольденберг Моисей Эммануил под страхом ареста и суда немедленно и добровольно убрался из своей almamater. Эта матер, кстати сказать, не только обучала деда медицине, но и полной мерой брала плату за каждый час его пребывания там – на лекциях ли, в клубах, в *братствах* (чтоб не менее двух!), за проживание и питание, пользование спортивным инвентарем и даже лодкой-одиночкой для академической гребли, хотя дед не любил холодное Женевское озеро, панически боялся воды, и так и не решился сесть в это странное суденышко с сиденьем, скользящим по рельсам. Семья деда считалась состоятельной, и никаких льгот и стипендий ему положено не было.

Этой семье обошлось в круглую копеечку отложить депортацию деда вплоть до вручения степени, но что было делать? На карту поставлены были полностью оплаченные шесть с половиной лет обучения в одном из лучших медицинских заведений Европы. Там более, что деду в честь окончания курса уже были заказаны отцом именные золотые часы Лонжин с боем и репетиром.

Вам, конечно, не терпится узнать, в чем мог так провиниться российский студент вероисповедания иудейского в либеральной Швейцарии начала двадцатого века. Держу пари, вам так и видится его революционная деятельность, подпольные кружки, печатание прокламаций и доставка их контрабандой в Россию. Ничего подобного! Такая деятельность отнюдь не считалась нарушением местных законов.

В вину деду вменялись два преступления, оба основанные на тайных доносах – жалобах пострадавших. Первое: познакомившись в парке с одной из юных воспитанниц летнего пансиона *Девушек из Уважаемых семей* города Гулль (Халл), Англия, дед уговорил ее оставить на ночь открытым окно ее *дормитория*, тайком пробрался туда и провел там подряд шесть ночей. И – не только с ней одной, но и еще с тремя ее подружками, тоже из Уважаемых семей города Гулль: те охотно таскали ему завтрак из столовой по утрам, а перед дневной проповедью, когда все обитатели пансиона собирались в рекреационном зале, дед, никем не замеченный, безнаказанно покидал место преступления через то же окно, выходившее в английский парк с дикими кустами смородины и густой травой.

Второе нарушение закона было не менее серьезным, хотя и менее рискованным: каждый раз, приходя к себе в кампус от пансионерок, дед подвешивал гирю от стенных часов к цепочке душа в ванной и, таким образом беспечно транжиря фильтрованную воду (что было категорически запрещено правилами!), мылся и распевал при этом во все горло «Гаудеамус!» Два студента-кальвиниста ему несколько раз вежливо напомнили, что это мешает их дневной молитве; двое других, агностиков марксистского толка, попросили не нарушать положенный им полуторачасовой сон. Вотще! Обнаглевший дед был слишком счастлив, бодр и самоуверен. Все испытания он сдал с наивысшими результатами, до вручения степени

оставалось два месяца – и у него уже был на руках нотариально заверенный перевод документа на русский, завершавшийся словами: *...кончил в университете г. Лозанна, кантон Во*. Так было принято в то время писать и говорить. На четвертый день пения соседи по дормиторию составили на деда донос, жалуясь на нарушения их прав на свободную молитву и потревоженный их дневной отдых. И отправили копии в администрацию, русский консулат и полицию кантона Во.

Первым прореагировал русский консул: уже на другой день от него пришла жалобщикам депеша-коммуникат: «Гнать таковых следует в шею: ходатайствуем по дипломатическим каналам об аннулировании паспорта Российского и проездных документов упомянутого вами лица». Депешу показали префекту полиции кантона.

Полиция несколько удивилась жестокости русского консула, но защищать иностранца не стала, не ее это дело. Передали выше по начальству, дошло до Федерального министерства иностранных дел: домино стало быстро падать – и дед оказался в беде. Как на грех,за два дня до того из Берна пришли заказанные ему отцом золотые именные часы – и именно их он выронил, в последний раз удирая через окно, серым дождливым полднем. Нашедший их в траве честный садовник, разумеется, вернул часы наиболее сообразительной из девушек, тут же заявившей, что они принадлежат ее брату; часы вернули владельцу, но их – и русскую надпись с именем уже успела заметить старая дева, наставница пансионерок. И это был конец. Девушек спешно собрали ночью в дорогу, тайно заказали закрытый экипаж и первым утренним поездом отправили в Женеву, а оттуда – в сопровождении их строгого краснорожегопастора – домой в родной город Гулль.

Дед еще ухитрился вечером, когда скандал уже разгорался не на шутку, встретиться напоследок с одной из девушек в укромном уголке городского сада между

беседкой для оркестра и хорошеньким домиком общественной уборной, и затащить ее на полчаса под сцену, пока оркестр играл «Сказки Гофмана». Оба умирали от хохота – так были рады что успешно обвели вокруг пальца старую деву, поверившую в расстройство желудка воспитанницы и терпеливо ожидавшую ее неподалеку на скамейке.

Все девицы отлично понимали, что ни матримониального, ни романтического будущего у них с их обожателем быть не может – дед был российским евреем и атеистом, девушки – протестантками; они прощались навсегда – но ничуть не жалели о случившемся: время-то они провели с дедом – веселей некуда, да и баловаться с близоруким, но искушенным в любви студентом-медиком было безопасно, во всяком случае, куда безопаснее, чем с их неумелыми, снобливыми, не привыкшими обращению со слабым полом, и такими скучными английскими соотечественниками…

Итак, ничего удивительного: убедившись, что жажда нравиться и быть желанной не признает в женском сердце никаких преград и препятствий, дед превратился в отчаянного ревнивца.

Он на всю жизнь запомнил, что ни догмы англиканской церкви, ни викторианские правила поведения не в силах остановить самую благовоспитанную барышню, если ей придет в голову провести сладкие полчаса в пыли под грязными подмостками с близоруким нахальным повесой, пока на сцене оркестр наяривает до неприличия чувственную Баркароллу Оффенбаха из «Сказок Гофмана».

НЕЛЮБИМАЯ ПРОФЕССИЯ

Дед считался одним из лучших диагностов в Киеве. Тридцать лет он без перерыва проработал в Кремлевской

лечебнице ЦЛК, бывшего Лечсанупра. Никаких привилегий ему при этом не полагалось, кроме разве личного телефона в комнате коммунальной квартиры, где жили они с бабушкой. К телефону, пока он бывал на работе, выстраивалась целая очередь соседей, пользовавшихся бабушкиным дружелюбием и неспособностью отказать просителям.

Дед не любил свое дело. Он объяснял это тем, что со времен Парацельса все, чему медицина научилась – это только резать! Остальное как было, так и осталось на долю интуиции, в потемках, из-за множества шарлатанов, консерваторов и обскурантов в этой профессии. Несмотря на недовольство начальства и партийной организации клиники, дед громким и сварливым голосом настаивал в коридорах, что диагностика внутренних заболеваний – это искусство, а никакая не наука! Кстати и некстати, он напоминал своим коллегам о том, что заболеваний нет, есть только больные!

Многие весьма образованные профессора-теоретики ненавидели его за это и за спиной называли воинствующим вульгарным клиницистом. Русское название своей специальности – терапевт – дед тоже не любил, ибо оно ассоциировалось у него с физио*терапией,* или с принятым тогда в Швейцарии названием психиатров.

Степень доктора философии дед так и не получил – только доктора медицины. Во-первых, у него не было на это времени: у властей кантона Во едва-едва хватило терпения; за немалый штраф они согласились предоставить деду только один месяц нахождения в стране для присвоения степени. Во-вторых, может, мало кто знает, но докторская степень, полученная за границей, не признавалась автоматически в Российской империи. Деду пришлось экстерном заново сдавать все экзамены в Казанском университете. Сдав все остальные испытания с отличием, один из экзаменов – фармакологию, дед по вздорности характера чуть не провалил, поспорив с

экзаменатором по какому-то пустяковому поводу. Стало ясно, что в Казани с ее процентной нормой деду, поклоннику идей Монтескье и Вольтера и страстному бонапартисту, лучше там в философию и не соваться. Пришлось удовлетвориться только степенью доктора медицины.

Но самое главное было даже не в этом. Вскоре разразилась война с Германией и Австрией, и дед, новоиспеченный интернист, подал в Союз городов прошение быть зачисленным в штат одного из санитарных поездов Союза. От действительной службы он был по зрению начисто освобожден, так что проходил в качестве добровольца. Приглашение в помощники главврача поезда он получил от самой княжны Веры Гедройц. Эта известная на всю Россию женщина-хирург заработала свою степень в Лозанне, в той же университетской клинике, что и дед. И профессор был у нее тот же, Сезар Ру, знаменитый хирург. Он-то и обратил внимание княжны на ее юного однокашника с необычным даром интуиции в диагностике инфекционных заболеваний.

С присущей ему въедливостью и скрупулезностью дед взялся за дело, и через месяц поезд был полностью экипирован самым современным хирургическим оборудованием, швейцарским рентген-аппаратом, химикатами и материалами для лаборатории, ваннами и двумя отдельными кухнями для различного типа желудочных пациентов. В затратах на оборудование приняла немалое участие и семья деда. Готовый к отправке на фронт, сверкающий огнями поезд показали императрице Александре, и сама одетая в форму сестры милосердия, она благословила вагоны и представила к награде всех, его подготовивших.

Однако триумф деда длился недолго. Когда в день отправки на Юго-Западный фронт он явился со своими щегольскими чемоданами на перрон, чтобы занять место в ординаторском вагоне, оказалось, что на его должность

уже назначен другой человек, и даже не врач, а просто чиновник Военного ведомства. Он отдал деду копию его прошения с резолюцией: «Отказать» за подписью председателя Союза городов. И ледяным голосом выразил сожаление за задержку уведомления об отказе.

Дед разозлился не на шутку. Потрясая серебряной медалью «За усердие», полученной из рук императрицы, он кричал, что отказавшие пожалеют о самоволии и требовал разъяснений. «Более ничего сообщить не могу-с», – сказал чиновник и захлопнул дверцу купе перед носом у деда.

Оставив багаж прямо на вокзале, дед вскочил в северный экспресс и через полсуток был уже в Царском Селе на приеме у княжны Гедройц; та, не откладывая дела, пошла к прямо к Ее Величеству и уже через час вернулась с ответом. Не давая деду задать вопрос, она швырнула на стол конверт с печатями, с отвращением пробормотав: «Секретно». Дед сдвинул пенснэ к самому кончику носа и начал читать тайный приказ Управления Начальника санчасти армий Юго-Западного фронта: «…в целях предотвращения антиправительственной пропаганды… направлять евреев-врачей не в санитарные поезда и госпитали, а в такие места, где пропаганда затруднена… как например на передовые позиции, уборку раненых с полей сражений».

«Эту страну убивают вши и эпидемии, а не снаряды. Я диагност-инфекционник, их жутко не хватает. При чем тут уборка раненых?»

«Александра не в силах ничего изменить, пока армией командует этот долговязый болван, Великий князь дядя Ники. Он вообще запрещает евреям находиться в зоне боевых действий. Они там про…ют одну кампанию за другой к е… матери, – княжна грубо выругалась и закурила сигару, – и сваливают все на предательство жидов».

«Так что же прикажете в этом случае делать? – все еще хорохорился дед.

«А вот что: я бы на вашем месте купила револьвер (княжна произносила: «револьвэр») и пошла на баррикады. Вместе со всем вашим народом. Чего этой империи действительно не хватает, это не диагностов, а хороших гильотин для тиранов!»

Тут даже дед заробел, крякнул «merde!» и стал нервно оглядываться. Все же это был лазарет при Дворцовом госпитале, и сестрами там служила и сама императрица, и ее великие княжны Ольга и Татьяна.

«Бросьте! – Гедройц мужским жестом, вдавив окурок в пепельницу, загасила сигару. «Я и сама уберусь отсюда вон при первой же оказии. Хоть на фронте отдохну от придворных интриг, в полевом лазарете. Пока что эти бездари не смеют запретить мне на фронте быть, хоть я и юбку ношу.»

Так закончилась первая же попытка деда оказаться в трудный час полезным Отечеству. Она, впрочем, была первой и последней.

Вскоре разразилась революция, и царь был низложен; в Киеве за три года не менее сорока раз сменилась власть и каждый из режимов требовал от врача немедленно стать под его знамена, либо «в случае неповиновения или неявки в срок, подлежать действию военно-полевого суда как дезертиру, вплоть до публичного повешения за шею или расстрела перед строем».

Иными словами – дед шел, что называется, нарасхват.

Револьвэр деду покупать не пришлось: ему как военному врачу он полагался от любой власти бесплатно. И каждая называла себя – истинно революционной. Все эти власти, объединяла, впрочем, одна особенность: при малейших затруднениях они начинали во всем обвинять, а потом грабить и убивать евреев.

Большевики издавали свирепые приказы по армиям, под страхом смерти запрещавшие погромы, но ничего не помогало.

Единственным исключением, властью, которая действительно на месте расстреливала за еврейские погромы – был Нестор Махно. И в его войсках у деда было наибольшее число пациентов, хотя и весьма специфических. Девять десятых из них были хроническими венериками, а потому не могли ездить верхом, но только в тачанках.

При этом у деда были от каждой власти охранные грамоты-свидетельства о том, что он призван. Ибо общие диагносты, будь они хоть трижды евреями, необычайно ценились всеми: по фронтам свирепствовал тиф, но еще больше – сифилис, недуг по прозвищу «обезьяна болезней», настолько симптомы его любому специалисту было легко перепутать с чем угодно, вплоть до ревматизма или простой ангины. Дед же почти всегда безошибочно выявлял признаки возбудителя и назначал сальварсан, *препарат Эрлиха 606*,в изобилии имевшийся тогда у всех оккупантов, от немцев до румын. Слухи о магическом диагносте пересекали линии фронта, слава его росла, и не раз за дедом по ночам приезжал бронированный автомобиль, и его под конвоем тайно переправляли к какому-нибудь начальству из войск противника.А на утро как ни в чем не бывало дед уже принимал пациентов по эту сторону фронтовой полосы.

Одним из таких тайных пациентов случайно оказался председатель провинциального Ревкома Ян Гамарник, впоследствии занявший одну из самых важных должностей в большевистском правительстве Украины. Помимо «обезьяны болезней», дед избавил предревкома еще и от возвратного тифа.

Захватив власть и упрочившись в Киеве, Гамарник особым декретом приказал деду закрыть частную практику и получить назначение в правительственную клинику

Лечсанупра. Ее-то впоследствии и переименовали в Кремлевскую лечебницу, или ЦЛК.

Под покровительством все той же Веры Гедройц, бывшей уже не княжной тогда, но принявшей режим *красной лесбиянкой*, писательницей и приват-доцентом Киевского мединститута, дед в относительном покое проработал в этой клинике всю свою жизнь, пока не ушел на пенсию.

Из-за всех принуждений, повесток и декретов, однако, свою медицинскую профессию он возненавидел, и тоже – на всю жизнь.

Чудовищно строптивый его характер в сочетании с уже известными нам астигматизмом и ревностью сделал деда в моей памяти героем множества невероятных происшествий, и если смогу, я попытаюсь о них рассказать позже и по порядку.

** дерьмо*
*** тридцать шесть свиней*

Виктор Норд *- режиссер и сценарист. Ему было 19, когда по его репортажу был сделан документальный фильм "Ночной вокзал". Это помогло ему поступить в Институт кинематографии на факультет режиссуры. В 1973 году В. Норд уехал в Израиль. Первой его работой там стали военные репортажи для Си-Би-Эс и документальный фильм "Третий день войны" ("Война судного дня" 1973 г.)*
С 1982 года Виктор живет и работает в Нью-Йорке. Работы его представлялись на фестивалях (Канны, Сан-Франциско, Торонто, Таормина).
Недавно в Москве был издан его роман "Непредвиденные последствия" - первая большая работа, публикуемая на русском языке.

НАТАЛЬЯ ПИСАРЕВА

ПРОГУЛКИ С ИОСИФОМ

(Post mortem)

Пусть не оригинален, но я благодарен Facebook за то, что он расширил мои информационные горизонты, приобщил к новым сферам знаний и в разы увеличил число виртуальных знакомцев, друзей и единомышленников. Настоящей находкой стала для меня Наташа Писарева родом из Донецка, которая под давлением политических обстоятельствах вынуждена была бежать из этого зачумленного города в Голландию, где и живет сейчас с мамой.

Наташа – трагедийный человек и по личным обстоятельствам: она инвалид из-за детского церебрального паралича, а школу, музыкальное училище и факультет журналистики окончила на дому. Что не помешало ее литературной судьбе – много печатается, активно участвует в общественной жизни, член украинских союзов писателей и журналистов. А главное - человек большой культуры, утонченной духовности и поэтического, от Бога, дара.

Собственно, с этого и началось наше заочное знакомство. Наталья Писарева прислала мне прекрасный цикл стихов «Прогулки с Иосифом», на который ее вдохновили мои книги о Бродском, а подзаголовком она выбрала название одной из них - «Post mortem». Мне выпала удача представить эти стихи читателям журнала «Время и место».

Владимир Соловьев, Нью-Йорк

Я мысленно всегда, всегда с тобой,
к тебе душою снова прилетаю…
Иосиф Бродский.

1.

Что ж, Иосиф, давай-ка с тобою пройдёмся,
бросим пару монеток за встречу в Гудзон и Неву,
загадаем желание ангелам и улыбнёмся,
ты - с божественных высей, я - здесь, в этом мире, и в этом краю, где живу.

Здесь дождливо, Иосиф, и зимы похожи на осень,
шестьдесят километров и - море, а дальше - уже океан,
только счастия нет, мой прекрасный, мой милый Иосиф,
даже в самой свободной и благополучной из стран.

И не то, чтобы грустно, скорее, тоскливо, быть может,
ты знавал это чувство, наверное, здесь на Земле,
когда в небе нью-йоркском, что с питерским хмуростью схоже,
пролетал над тобой клин зовущих назад журавлей.

Вновь вдали журавли… Посмотри, мой Иосиф, ты ближе
к этим птицам теперь, о которых и вспомнишь едва ль,
слышишь, зов журавлиный всё тише и тише, и тише,
за три моря уносит заморскую нашу печаль.

За три моря, Иосиф, а слышится как «за три горя»,
там живётся всё так же, мой друг, всё по тем же привычным канонам.
Там Нева, как и прежде, стремится к Балтийскому морю,
да и тучи, как видишь, всё те же над Ладогой и над Гудзоном.

Век иной за окном - и на том берегу и на этом,
мы, Иосиф, с тобою чужие в нём, словно скитальцы,

мир, мой друг, очерствел - он не внемлет мольбам и советам,
и ему не до нас, он не внемлет, он шествует дальше.

Век раздора настал, как и сказано в мудром трактате.*
Люди больше не верят друг другу, наверно, устали.
Этот век, повторюсь, нам с тобой до конца не понятен,
пусть и в новом обличье - он тот же - из крови и стали.

…Ты прости мне, мой друг, бесконечную эту тираду,
ты ведь знаешь ответы, а я задаю лишь вопросы.
Мы идём Петербургом, который ты знал Ленинградом,
вслед нам волны Невы тихо шепчут: «Иосиф… Иосиф…»

2.

Пора Иосиф… Нам с тобой пора.
Балтийский ветер, он словам не верит.
Он нам не верит, с ночи до утра
бросая волны на гранитный берег,

туда, где след заблудится чужой,
средь наших двух, нарушив равновесье.
А мы о чём? О том, что над Невой
висят мосты и ничего не весят.

И ничего не весят острова -
как будто на холсте - лишь прорисовки,
когда туман рассеется едва
над городом, чей шпиль заденет ловко

небесной тверди краешек. Смотри…
над нами небеса или под нами
река, что отражает фонари…
Иль это дождь идёт всё тот же самый

в обнимку с нами… Он такой же гость,
как ты и я, особая примета
для здешних улиц… «Петербургский дождь», -
поправишь ты и спрячешь сигарету.

А впрочем, мой Иосиф, даже дождь
не вспомнит нас да и забудет скоро
продрогший город, где не проживёшь
без зонтиков и долгих разговоров,

что, видно осень, а, точней, зима
устала землю баловать снегами,
что осень поделилась с ней дождями
и оттого такая кутерьма

на этой части суши. Но прости… Я не о том,
что зимы изменились,
но изменились улица и дом
и прежние часы остановились.

3.

…В Голландии и в феврале дожди
и кажется, что в целом мире слякоть,
здесь небеса привыкли только плакать,
вот и сегодня - к ночи ливень жди.

Легко и перепутать города -
что Амстердам, что Петербург - с дождями,
вода, Иосиф мой, везде - вода,
каналы - здесь и там, но в Амстердаме,

пожалуй, чуть побольше кораблей,
а ощущение, мой друг, всё то же,
что мы с тобой на долгий век старей,
а города, конечно же, моложе.

Моложе нас на миг, на век, на жизнь
мою, твою сплетённую с другими
тугим узлом, что тянет душу вниз
обратно к дому и туда где имя

ещё не раз твоё упомянут
на берегах Невы или Гудзона,
там вновь жара, мой друг, не по сезону,
не то что солнце здесь - на пять минут.

Что сравнивать? И надо ли? Судьбе
неважно изменение погоды,
в пространстве расстоянье год от года
моё всё ближе к вечному тебе.

Всё ближе и всё дальше. Список дат
нам пересматривать, мой друг, теперь негоже,
на то, что было, беглый бросим взгляд,
но память снова образ твой тревожит

последней буквой, траурным цветком,
который принесу на Сан-Микеле**…
Ну что, Иосиф, всё на самом деле?
И смерти нет, а жизнь - пройдёт потом…

** Имеется в виду Бхагавад-гита - часть великого древнеиндийского эпоса Махабхарата. В Бхагавад-гите описан век Кали-Юги. В данной строфе цикла «Прогулки с Иосифом», «век раздора» соответствует одному из значений «последнего века» (Кали-Юги).*

*** Сан-Микеле - кладбище на Острове Мёртвых в Венеции (Италия), где находится могила И.А. Бродского.*

БОРИС ПЕТРОВ

РАССКАЗЫ

ОДНАЖДЫ В БОЛГАРИИ

Вечером мы вернулись из одного горного села, где нестинары танцевали на углях. Деревня находилась где-то высоко, но не так высоко, как Шипка. На Шипке сразу становилось понятно, на какую высоту мы въехали, и с меня там сошло семь потов, когда я карабкался по лестнице к этой чертовой башне – памятнику Свободы. Свобода – это прекрасно, но я совсем запыхался.

С пика все любуются потрясающим видом на перевал и окрестности, там целая огромная горная страна, и во все стороны торчат установленные на горах пушки, и на склонах стоят очень ухоженные обелиски; тропинка ведет на серые игольчатые скалы, покрытые мхом, по которым мой друг прыгал, словно горный козел, с превеликим удовольствием. Но для меня там оказалось высоковато.

Я сделал там целую серию панорам – и как горы, такие зеленые вблизи, растворяются в голубизне, и как под ногами круто все обрывается вниз, и там, внизу, плывут облака и цепляются за ели, и летают птицы; но я был рад, когда мы поехали дальше – помнится, тогда путь наш лежал в Габрово.

Но в этой деревне с нестинарами склоны гор казались пологими. Так казалось до тех пор, пока дорога не выходила на обрыв, и тогда раскрывалась огромная, полная воздуха долина с крошечными коробочками домов внизу, вся расчерченная квадратами лесов и полей, и серебряными лентами рек, которые текли к морю. Такие ленты вяжут на священные деревья. Иногда под ними и дерева-то незаметно – сплошной клубок лент. Но когда мы

приехали в деревню и глядели с гор на эту долину, все было видно отчетливо.

Моря от деревни не было видно, оно лишь угадывалось вдали, там, где горы расходились, словно долина раздвинула их локтями, и с той стороны дул ветер, сильный и горячий. В деревне у забора с чрезвычайно унылым видом стоял осел, земля была распахана, а там, где росла трава, под деревьями паслись лошади. Лошади выглядели очень красиво, но нам стало жалко осла – уж больно он был несчастен.

Дожидаясь захода солнца, мы сидели в доме у крестьян и ели обед, а перед нами выступали танцоры. Нам подали мясо с картошкой, это оказалось сытное, но не очень вкусное блюдо. Мне показалось, что в нем маловато соли. Мясо мы запивали молодым вином – оно очень бросалось в ноги. Музыка играла очень громко, гулко били бубны и очень резко взвизгивали скрипки, а гармонь придавала звуку густоту. Иногда танцоры вскрикивали, они кружились, прыгали по комнате и были разодеты в пестрые национальные рубашки; в глазах рябило и все вокруг хлопали, но я бы предпочел пить вино в тишине.

Когда стемнело, нас повели смотреть танец на углях, и кряжистый, будто выточенный из дуба мужик с обвислыми усами, весь состоящий из бугров и узелков, сделал из углей багровый крест и долго ходил по ним, и крест расплылся, а мужику совсем не было больно. Они знали, до какого состояния нужно довести угли, и кожа на подошвах у них, наверное, отросла слоновья. В этом деле они в деревне были специалисты.

Мужик танцевал под очень жесткую мелодию волынки, а потом взял на руки какого-то ребенка и стал кружиться по углям с ним. Все притихли, глядя на это, только бараны и птицы шевелились в сарае, расположенном недалеко от круга. Я хотел сфотографировать нестинара, но никак не мог сообразить, как сделать так, чтобы кадр получился: наступила ночь,

свет давали только угли, а у меня слишком расшумелось в голове от молодого вина.

Поэтому я заснул на обратном пути и проспал всю дорогу вниз, к морю. У отеля меня разбудили и рассказали, что наш автобус чуть не опрокинулся в пропасть, потому что гнал в темноте по горным серпантином на сумасшедшей скорости, и никто ничего не видел, только фары то упирались в скалу, то проваливались вниз; машину немилосердно трясло, но даже это не разбудило меня. Да, болгары, они такие, они любят гонять по дорогам, сказал мой друг.

Он был бледен и я сказал ему об этом.

– Станешь тут бледным, парень! Такая гонка! – ответил он.

Я пожалел, что я проспал самое интересное, но потом мы пошли ужинать и заказали гювеч, а мой друг еще и чорбу.

– Я, когда нервничаю, очень кушать хочу, – приговаривал он за ужином. – А я нервничаю. Глупо было выжить под Иловайском после той мясорубки, которую там устроили ваши бандиты, и умереть, кувыркаясь в старом «Икарусе», который ведет пьяный жирный болгарин.

– А он был пьян?

– Так же, как и ты, – ухмыльнулся мой друг. – И, по-моему, тоже спал. За рулем. Ты что, не заметил, как он дул вино?

Нам было немного грустно, но мы запивали гювеч ракией «Бургас 63» и воспрянули духом, и мой друг постепенно успокоился, а я сказал себе, что нестинаров все-таки повидал, а остальное не так уж и важно. Если кто-то хочет успокоиться после таких дел, то «Бургас 63» – самое оно. Это лучшая ракия на всем побережье Болгарии.

Очень хорошо было пить ракию в этом ресторанчике. Мы сидели около печи, с которой свисали связки трав и зеленого перца. Если поднимался слишком

сильный ветер с моря, официанты опускали клеенчатый полог, и жизнь казалась прекрасной.

– А вот в Москве я не пью ракию, - сказал я. - Невкусно. В Москве ракия не идет.

Друг пренебрежительно фыркнул.

– Каждому напитку – свое место, – глубокомысленно сказал я. – Не могу в Москве я пить ракию.

– К дьяволу Москву, – сказал друг. – К черту ее. Не хочу даже думать сейчас про Москву.

– Тогда и Киев к черту.

– Нет. Киев нельзя посылать к черту. Не получается.

– Почему же Москву можно, а Киев нельзя?

– Не знаю. – Мой друг задумался, а потом встрепенулся. – Знаешь, и правда ведь. Я люблю Москву, и Киев тоже люблю. Но вот ведь как интересно! Москву я могу послать к черту, а Киев – нет. Язык не поворачивается. Слушай, как интересно получается. Москву – можно, а Киев нельзя.

Спорить мне не хотелось.

– Эй, ты не забыл, что мы на отдыхе? – спросил я, пока мой друг не помрачнел. Он был веселым человеком, но после того, через что ему пришлось пройти, он иногда мрачнел. Тогда он становился нехорош. Он становился нехорош настолько, насколько он был великолепен веселым.

Он посмотрел на меня и улыбнулся, и я расслабился, потому что увидел, что это – мирная и добрая улыбка.

– Ладно, парень, - сказал он. – О'кей. Мы на отдыхе. И я, чтобы все были равны, готов послать к черту и Москву, и Киев. Черт с ними со всеми.

Я поглядел туда, где в темноте горбились поросшие кустарником дюны. За ними было море: невидимое

отсюда, но шумное. Казалось, что там, где море, в темноте кто-то мерно и мощно дышит.

– Да, к черту это все, – согласился я. – Налей еще «Бургаса». Это очень хороший сорт.

В ресторанчике работали очень красивые официантки. Некоторые понимали русский язык. Одна девушка согласилась посидеть с нами немного. Она рада была немного передохнуть.

Официантка рассказала, что родом из Молдавии, живет со своим молодым человеком в Велико-Тырново и заканчивает педагогический факультет университета Кирилла и Мефодия. В Молдавии очень бедно, но у нее отец – болгарин, и он ее забрал из Кишинева. В Болгарии тоже очень бедно, но лучше, чем в Молдавии. Официантка тараторила легко и быстро, четко выговаривая буквы. Она прекрасно говорила по-русски, только иногда запиналась, вспоминая слова, и тогда нетерпеливо прищелкивала узкими пальцами.

Девушка говорила, что каждое лето ездит работать на побережье и проводит здесь весь сезон, зарабатывая деньги. В Болгарии можно заработать только на побережье. Все стремятся к морю летом, и не у всех получается найти дело, потому что слишком много народу, и турки здесь же, и греки, и даже сербы. Но хозяин давно ее знает, доверяет и всегда дает работу. Он пока держит ее на зарплате и чаевых, но она на хорошем счету и надеется через несколько лет войти к нему в долю.

Мы и хозяина, разумеется, прекрасно знали. Это был еще молодой, но уже невероятно толстый турок. Он часто приходил и сидел за столиком у кассы, а когда видел знакомые лица, поднимался и с достоинством, но радушно пожимал всем руки. Это был очень обходительный человек. Он очень гордился своим рестораном.

А девушка была длинноногая, худая, угловатая, с маленькой острой грудью, у нее смешно торчали во все стороны коленки и локти. Она коротко стриглась и это

очень ей шло. Все знали, что она – очень хорошая официантка, и рады были, когда именно она обслуживает столик.

– Купаться-то тебе удается, девочка? – спросил я.

– Очень редко, – сказала она с сожалением. – Очень много работы. Мы заканчиваем в час ночи, а уже в семь утра надо вставать.

Мой друг предложил ей ракии, но она отказалась.

– Не пью, – сказала она и засобиралась вставать. Когда мой друг предложил ей ракии, она сразу стала держать себя холоднее, а до этого мы были хорошими друзьями.

Я пнул друга ногой под столом, и он мне ответил тем же, но не унимался и стал предлагать ей сходить искупаться после смены. Девушка покраснела и встала.

– А я думала, вы приличные люди, – сказала она. – Все вы, русские, такие.

Она убежала и больше не подходила к нам в этот вечер, и я сказал другу:

– Что, съел?

Он рассмеялся.

– Что же ты не сказал, что ты украинец? – спросил я его. – Что ты промолчал?

- А пусть она думает, что мы оба русские. Все русские такие, вот как она сказала. Пусть так и думает, – ответил мой друг, продолжая смеяться. Он хорошо смеялся, от души, показывая полный набор великолепных зубов. Я знал, что половина из них – вставные. Ему разворотило челюсть на фронте, и половину зубов пришлось вставлять заново. Но это ему не мешало, а шрам был почти не виден.

– Сволочь ты, – сказал я ему.

– Не переживай, парень, – произнес он небрежно. – Я просто пошутил.

– Нет, ты все-таки сволочь. Сукин сын.

Мой друг пребывал в безмятежности, он подставил ветру свое красное лицо и сказал:

– А, пустое. Ерунда все это. Она подойдет завтра. А мы с тобой, парень, сейчас пойдем купаться.

Я еле уговорил его от этого. Я подумал, что не стоит ему сейчас лезть в воду: для плавания от выпил слишком много ракии. Вот уж точно было бы глупо утонуть после того, как он выбрался из дебальцевского котла и не спал по дороге к морю, глядя на то, как фары срываются в пропасть. О, это было бы втройне глупо.

Мой друг отчасти оказался прав: на следующий вечер девушка подошла, но старалась держаться моей стороны стола и даже пару раз коснулась пальцами моего плеча, и мне это очень понравилось.

Мой друг не обращал внимания на такие мелочи: он приехал отдохнуть, и он отдыхал. На всю катушку. Мой друг любил и умел отдыхать, и такие мелочи не могли испортить ему настроение. Гораздо больше он испугался автобуса, который мчался в ночи вниз по горному серпантину. Ведь если что-то случилось бы, это могло всерьез испортить ему отдых, не то, что какая-то официантка.

КОММУНИСТ

Мы сразу решили, что этот мужик – странный, сразу. Прямо как он вошел, стало видно, что он, что называется, не от мира сего – хотя бы потому, что он носил шляпу, высокую какую-то модель, почти цилиндр, а кто сейчас такие носит, да еще осенью, вечером в субботу, когда на улице идет такой дождь, что размывает даже свет фонарей?

Шляпу он повесил на крючок на стене у входа, с нее закапало и на полу быстро образовалось темное пятно. А плащ он снимать не стал, присел за стойку прямо в плаще,

заказал рюмку коньяка («Обогреться», пояснил он с милой улыбкой) и стал смотреть футбол, как и все.

Когда наши опять проиграли этим проклятым сине-бело-голубым, мы стали обсуждать, что футбол все-таки у нас находится в первобытном состоянии. Мы все говорили об этом, даже я. Славно это было – пить кто что хочет и говорить о футболе, хотя среди нас попадались и такие, кто огорчался по-настоящему.

Он тоже заговорил о футболе, и даже немного разгорячился и снял в конце концов свой плащ. Рыхлый он был какой-то, это и в лице у него проявлялось, и в руках, которые он держал сложенными перед собой и иногда поднимал правую, чтобы привлечь внимание или взять рюмку. У него были короткие пальцы с обкусанными ногтями и круглые ладони. Он сказал, что его зовут Сергей и что он любит футбол, и что он все-таки никак не может понять, почему у нас с футболом ничего не получается.

– Бывает просто блестящая встреча, – сказал он, – Да только потом жди беды.

Он немного сутулился, носил очки и часто моргал, и мы поняли, что он – не настоящий болельщик, не из тех, кто страстен. Это все поняли, даже я. Но улыбка у него была хорошая, хоть и тоже рыхловатая, и он подсел к нам, и говорил о футболе.

– Все у нас вот так, – говорил он. – Сначала блестяще, а потом жди беды.

Чуть погодя, когда мы стали уже хорошие приятели, Сергей признался, что он – коммунист, но не из тех, чье начальство сидит на Охотном Ряду.

– Нет, я не люблю этих толстозадых, – сказал он, – Я сторонник решительных мер. Я за революцию. Надо все менять, а лучше революции для этого не придумали.

От такого человека странно оказалось это слышать: никак не вязались решительные меры с этой шляпой, на которую Сергей иногда оглядывался, с этой чуть виноватой улыбкой, когда поднимаются только кончики

губ и поднимают щеки, отчего глаза за стеклами очков щурятся и вокруг них разбегаются морщинки.

Сергей сообщил, что он коммунист, и его лидер уже несколько лет сидит в тюрьме, а сам он никогда не сидел и надеется все-таки этого избежать, потому что, наверное, это неприятно, хотя и в тюрьме немало хороших людей, которые тоже любят решительные меры.

– Если придется, конечно, я готов, – признался он и выпятил подбородок, украшенный бородой клинышком, и я понял, что он стрижет ее под Ленина и она совсем не идет к его типу лица, а мой друг, который сидел справа от меня, шепнул:

– Смотри, какая у него седина. А ведь вроде молодой парень.

Оказалось, что Сергей любит хороший коньяк, и мы попросили, чтобы нам принесли всем эту марку, потому что тоже любили хороший коньяк, даже я. Мы пили, а снаружи была осень и лил дождь, и машины плыли в этом дожде, как большие мыльные пузыри. Футбол закончился и барменша взяла пульт и стала щелкать каналами, и на экране появлялись то чьи-то хохочущие лица, то какой-то фильм, где мрачный человек полз с мрачным ружьем через мрачные кусты, то новости, где наши самолеты бомбили Сирию: разрывы на съемке походили на грибы-дождевики.

– Выключи, Ксень, – сказал кто-то барменше, но Сергей попросил оставить.

– Надо знать, что происходит, – сказал он извиняющимся тоном, и смотрел новости очень внимательно. Он просмотрел их до того момента, когда диктор объявил о проигрыше наших этим проклятым сине-бело-голубым, и все опять загрустили, даже я.

Потом барменша переключила на МТВ и приглушила звук, и какая-то группа стала исполнять красивую металлическую балладу, и в баре стало опять хорошо и уютно.

– Вообще-то, я учитель, – сказал Сергей, – но я коммунист, и мне всегда надо знать, что происходит.

– А что ты преподаешь, учитель?

– Я учу рисовать, – смущенно ответил Сергей. – У меня мама художник и я художник. Но самое главное – борьба. Я сейчас нигде не работаю: не всем нравятся мои взгляды. Живу репетиторством. Многие хотят, чтобы их дети учились рисовать. Это дело прибыльное. Но постоянной работы сейчас у меня нет.

– Ты что же, детишек флаги красные заставлял рисовать, что ли?

– Нет, конечно, нет. Но я не скрываю же, что левый. Я всегда говорю, что нужна революция. Вот это не нравится. Как только я начинаю говорить про революцию, меня просят написать заявление по собственному желанию.

– Я думал, – заметил мой друг, тот, который сидел справа, – что сейчас к коммунистам терпимо относятся. Нормально вроде как. Свои же люди, правильные.

– А мы неправильные, – улыбнулся Сергей. – Мы совсем не правильные.

Он спросил нас, читали ли мы программу его движения и статьи его лидера. Оказалось, что из всех нас читал кое-что только я, зато мой друг вспомнил, что видел Сергея на митинге.

– Да, я обязательно участвую, – сказал Сергей. – Сейчас мы редко проводим акции. Но если проводим, я обязательно прихожу.

Он навалился грудью на край стола, доверительно поглядел на нас и сказал:

– Я, вообще-то, с детства ужасный трус. Поэтому я обязательно участвую в акциях. Мне страшно, особенно если это незаконная акция, но я иду. Надо преодолевать свой страх. Но мне везет: меня ни разу не задерживали.

– А что ты еще делаешь?

– Мы часто сейчас ездим в регионы, – объяснил Сергей. – Мы раньше делали ошибку: сконцентрировались на Москве и Питере. Но здесь слишком много буржуазности. Слишком много богачей. Слишком много либеральной сволочи и фашистов. Поэтому мы едем в регионы и ведем там разъяснительную работу. Там люди проще, ближе к нам. Я считаю, что будущее –за регионами. Оттуда придет революция.

Среди нас были и люди либеральных взглядов, и мы сказали об этом. Сергея это не смутило, может быть, потому, что он уже выпил много коньяка. Он сказал, что и нам в новой России найдется дело. Зря никого в расход не пустят, сказал Сергей. Это расточительно и не экономно. Дело найдется всем, просто те, кто поймут свои ошибки, будут работать искренне и на благо народа, а остальным и деться будет некуда. Все будут работать на благо народа, просто некоторые искренне, а некоторые – нет. Революция все расставит на свои места. Осталось немного ждать, товарищи. Уничтожать будем только самых отпетых, самых закостеневших. Чистки, конечно, неизбежны, но зато остальные займутся делом. Славный Сергей был мужик, но у него оказалась страшная каша в голове. Он нам нравился, даже мне.

Он показал нам фотографии своей живописи. Мой друг посчитал, что они для человека левых убеждений слишком нечеткие, а мне понравилось: Сергей писал и пейзажи, и портреты, и у него получалось передавать настроение. Один вид я вспомнил – это была старинная деревянная церковь под Каргополем. Она стояла одна посредине поля, а поле окаймлял лес. Раньше там были деревня и озеро, но потом они исчезли, а церковь осталась. Это была шатровая церковь, богато украшенная, и даже не верилось, что это все из дерева. Некоторые доски подгнили, и все окна были разной формы. Она производила на людей сильное впечатление.

Я сказал Сергею о том, что я тоже бывал в этих местах, и он остался очень доволен.

– Настоящая Россия, – сказал он. – Я ездил туда в командировку от партии. Очень дремучие люди, но настоящие русские.

Жители Каргополя мне не показались дремучими, но церковь у Сергея вышла очень хорошо, и я не стал спорить. Не хотелось спорить в такой хороший вечер, когда на улице льет, а в баре тепло и вокруг тебя – тепло, и внутри – тоже, и барменша наливает кому-то пиво, и кто-то поднимается вверх во скрипящей узкой лестнице.

Но немного мы все-таки поговорили: Сергей нам доказывал, что церкви прекрасно совмещаются с коммунизмом. Он не видел здесь противоречий. В свободной стране, сказал он, можно будет верить во что угодно, никаких ограничений. Он и сам оказался верующим. Он рассказал, что его тайком крестила бабка у отца Александра Меня. Он очень уважал отца Александра Меня, хотя совсем его не помнил. Христос был первым коммунистом на Земле, считал Сергей. Он выступал за свободу, равенство и братство, и был распят. Да, да, именно так, конечно: он был первым коммунистом. Друзья, какая у вас великолепная компания: сидишь с вами, и в голову приходят очень глубокие мысли.

Мы все были рады, что наша компания способна вызвать глубокие мысли, даже я.

Портреты у Сергея мне меньше пришлись по душе: они были довольно агрессивны. В них чувствовалось, что он – коммунист. У людей на его портретах были жесткие глаза. Среди них почти не оказалось женщин.

Мы спросили его про женщин. Сергей сказал, что он не женат, хоть ему уже и за тридцать.

– Все время занимает борьба, – улыбнулся он. – Семья – это вообще буржуазный пережиток. Когда мы придем к власти, мы ликвидируем институт семьи.

К тому времени он нам слегка надоел, и кто-то грубо спросил, уж не евнухи ли они там, в его партии. Но Сергей совсем не обиделся. У него было прекрасное, мирное настроение. Казалось, что он очень рад разговаривать с нами.

– У нас много соратниц, – ответил он. – Вы даже не представляете, как много у нас соратниц. У меня нет жены, но у меня есть возлюбленная. Она тоже участвует в нашем движении.

Когда он сказал о возлюбленной, он зажмурился, и лицо у него стало ласковое и доброе, и наши симпатии вернулись к нему. Кто, скажите на милость, сейчас говорит: «возлюбленная?» А Сергей сказал, и это старомодное словечко очень ему шло, и я подумал, что, возможно, он и кажется таким странным оттого, что старомоден — со своей шляпой, кашей в голове и бородкой под Ленина. Коммунизм ведь тоже, можно сказать, старомоден.

Мы еще долго сидели и трепались в таком же духе. Сергей немного размяк и рассказывал нам и про свое движение, и про себя самого. Он сетовал на то, что люди стали несознательные. Индивидуалисты. Эгоисты, можно сказать, мещане. Мало кто, говорил Сергей, сейчас стремится что-то сделать ради общих целей. Правда, в последнее время стало лучше. Последние события сплотили народ, и это прекрасно, но впереди еще много дел, очень много, надо вести разъяснительную работу, и надо бороться с фашизмом и индивидуализмом, и надо готовиться к революции. Как Христос. Прямо как Иисус Христос. Только он ошибался: он пожертвовал собой, а мы никем не будем жертвовать, а уж собой тем более, потому что глупо жертвовать ценными кадрами... Вообще, этот Иисус ничего был парень. Ему бы с нами было интересно. Он же совсем свой, Иисус.

Услышав это, мы вызвали Сергею такси. Было три часа ночи, и барменша поглядывала на часы. На втором

этаже официантка переворачивала стулья и немузыкально напевала себе под нос. На улице дождило по-прежнему, и мы еле надели на Сергея плащ и его жуткую шляпу. Он грузно сидел у стойки и не хотел его надевать. Он хотел еще коньяку и поговорить. Редко, сказал он, выдается провести вечер с такой хорошей компанией. Как замечательно мы поговорили, ребята, говорил он. Просто замечательно. Жаль, что вы пока еще не коммунисты. Но я обязательно зайду еще.

Он даже прослезился на прощание, тряся нам руки.

– Уж больно хорошо мне тут было, – сказал он.

Мы усадили его в машину и Сергей уехал.

– Все они такие, – сказал мой друг.

– Какие? - спросил я. У меня слипались глаза и я тоже засобирался домой, где меня ждала кошка, которую надо было покормить. Я жил недалеко и машину не вызывал. Моему другу надо было добираться дольше. Его дома ждала собака. Он сказал, что ему надо ехать, потому что она без него не ложится спать. Тогда мы выпили еще коньяку. Сергей, надо сказать, знал толк в коньяке, и мы вновь заказали ту марку, которую он всю ночь пил.

– Да вот такие. Сентиментальные, – сказал друг. – Приходят и разводят тут сырость. И в футболе ничего не понимают.

Я кивнул. Сергей и впрямь ничего не понимал в футболе. Ни капельки не разбирался в этом деле.

МАШИНУ ЗАВТРА НЕ ПОДАВАТЬ

Очень милый ожидался день, и очень насыщенный. Они все тщательно распланировали заранее. Они еще в Москве, перед отъездом, долго сидели и обсуждали, куда наведаться, и это доставляло им огромное удовольствие. Они все решили. Все распланировали, до мелочей, даже прогноз погоды учли. Им не хотелось, чтобы в последний

момент что-то помешало, возникло какое-то недоразумение.

Вставать, правда, в такую рань не хотелось, и девушка долго мычала в подушку, что никуда не хочет ехать, что у нее глаза сами закрываются и голова болит, но они договорились с шофером на восемь утра, и подниматься пришлось.

– Не надо было так долго сидеть на набережной, – сказал молодой человек. – Здорово вчера было, но мы слишком долго слушали эти проклятые немецкие песни. А там ветер.

– Не надо было пить столько шнапса, – ответила девушка. – Ветер тут не при чем.

Она, наконец, повернулась на спину. Молодой человек любовался ей. Волосы разметались по подушке, и он подумал, что на свете нет зрелища красивее, чем волосы на подушке, вот так, утром. Еще он подумал, что очень любит ее.

– Я пойду в душ, – сказала девушка, не открывая глаз. – Сколько у нас времени?

– Поторапливайся, – сказал молодой человек, подождал, пока девушка скроется в ванной, воровато оглянулся и достал таблетки, кинув одну в рот. У него тоже болела голова. «Она права, подумал он. Не надо было так налегать на шнапс. Но как тут не пить, когда ты сидишь за столиком на Limmatquai, с озера дует ласковый, теплый ветер, в кафе играет живая музыка и в твоей руке ладошка любимой, и это чудо, что здесь в это время года так тепло. Да, чудо. И эти немецкие песни. Как тут не выпить шнапса».

Когда они несколько дней назад улетали, в Москве пошел снег, и все стало грязное и серое. В Цюрихе их встретила самая настоящая золотая осень, мягкая, прекрасная, и черепичные крыши, и узкие улочки-щелки, каждая из которых имела свое название, и громада Grossmünster, видимая отовсюду, и пестрые склоны

холмов вокруг города — это все переносило в прошлое, в какое-то романтическое средневековье, где жили девы и рыцари, где все было иначе, чем в наше время; и они сказали друг другу, что будут здесь счастливы.

Они дали друг другу такое обещание, и выполняли его, когда вселялись в отель, и когда в первый раз пошли гулять по Цюриху, и когда поехали в Рапперсвиль, кантон Сен-Галлен, и лазили там по замку, восторгаясь синевой озера и чистейшим воздухом. Они честно выполняли свое обещание. Они очень хотели быть счастливыми.

Конечно же, они опоздали. Машина уже ждала их у входа в отель. Молодой человек позволил выкурить себе сигарету. Девушка стояла рядом и ежилась, спрятав ладони под мышки. Она одела теплый свитер и шапочку, потому что с утра все-таки было холодно, а она и летом всегда мерзла. Он смотрел на ее смоляные кудряшки, чудесное румяное лицо, черные глаза, в которых так любил тонуть каждую ночь, и говорил себе, что счастлив. А она моргала припухшими со сна веками и озиралась с таким изумленным выражением мордашки, что молодой человек рассмеялся, обнял ее за плечи и повел к машине.

– Куда мы поедем сегодня? – спросила девушка.

– На Walensee, – сказал молодой человек весело. – А потом в Лихтенштейн. В Вадуц.

Он с удовольствием выговаривал все эти названия. Валензее. Лихтенштейн. Вадуц. Ах, как здорово! Он всегда мечтал так ездить. Он всегда мечтал путешествовать со своей любимой. Он много где побывал, но всегда без любимой, и некоторые места были не предназначены для девушек. Но здесь, в Швейцарии, он хотел быть со своей девушкой. Елки-палки, после того, что он пережил, он заслужил такую поездку. У него все получилось. Любимая девушка. Валензее. Вадуц. Надо же.

– Я хочу спать, – сказала девушка капризно.

– Поспишь, малыш, в машине. Нам долго ехать.

Автомобиль быстро выбрался из города и полетел по трассе. Вокруг были холмы, очень зеленые, и молодой человек сказал:

– Смотри, как здесь ярко!

– Что? – переспросила сонно девушка. Она дремала на заднем сидении. Молодой человек разместился рядом с водителем, спереди. Ему нравилось ездить на переднем сидении и смотреть вперед.

– Здесь очень чистые краски, – повторил он. – Ну взгляни же! Смотри, какой насыщенный цвет! Прямо изумруд. У нас такого нет.

– У нас много чего нет, – пробормотала девушка. – А что за запах? Почему так пахнет?

– Kühe, – коротко сказал шофер.

– Коровы, – перевел молодой человек.

– Вот как, – удивилась девушка. – Надо же. Швейцария – и вдруг коровы.

Молодой человек рассмеялся.

– Ну мне почему-то казалось, что это не такая страна, где должны быть коровы, – смутилась девушка. – И вообще, я сонная. Я хочу спать и говорю чушь. Не обращай внимания, ладно? Я скоро проснусь и не буду говорить чушь. А запах все-таки сильный.

Шофер кивнул. Он прислушивался к разговору и, видимо, частично понимал его.

– Kühe. Viele Kühe. Dung, – повторил он.

Молодой человек посмотрел на него.

– Sehr gut, – сказал он.

Шофер произнес еще несколько слов, которые молодой человек не разобрал, но на всякий случай кивнул и стал смотреть вперед. Там было на что посмотреть. Холмы по бокам дороги становились все выше, дорога стала петлять, а впереди вставали в ослепительном сиянии снегов Альпы, грозные, красивые, парящие над землей. Те горы, которые они проезжали, оставались зелеными и пестрыми, но впереди виднелись уже скалы, острые пики,

они дрожали в чистом воздухе и в конце концов оказалось, что они видят целый хребет, неимоверно огромный, целую гигантскую бурую стену, мускулисто и мощно вздымающуюся в высь, и – удивительно – на этой стене на уступах рос лес, хотя с дороги казалось, что она совсем плоская.

Дорога заныряла по тоннелям, вилась по берегу озера, вела мимо крошечных населенных пунктов. Кругом по-прежнему все было изумрудно зеленое. Это была очень красивая местность, но девушка все проспала и проснулась только в Вадуце.

Они, чувствуя себя немного растерянно, прошлись от стоянки автомобилей до собора святого Флорина и нашли, что его нельзя сравнить с цюрихскими. Потом они долго фотографировали замок, который нависал над городом. Замок выглядел очень неприступно. Она сделала кадр: молодой человек стоит у здания парламента Лихтеншнейна с важным видом. Получилось очень забавно.

Еще они зашли в банк и сняли деньги. Клерки в банке были очень вежливые и выполнили процедуры очень быстро.

Молодой человек долго разглядывал пачку разноцветных швейцарских франков и сунул их в кошелек.

– Вернемся, буду работать, как вол, – сказал он.

– А что такое? – спросила девушка.

– Зарабатывать надо, – улыбнулся он. – На наши с тобой путешествия.

– Мы с тобой можем и не ездить так далеко и дорого, – рассмеялась она. – Мне вполне достаточно ощущать тебя под своим боком.

– Нет, – сказал молодой человек. – Я хочу, чтобы мы с тобой ездили, долго и далеко, и смотрели, везде смотрели, везде побывали. Я хочу, чтобы мы весь мир с тобой осмотрели.

Девушка взяла его под руку.

– Я тоже этого хочу, – сказала она.

Он счастливо улыбнулся, но подумал, что все-таки надо будет потом заработать побольше денег. Деньги никогда не повредят. Это не лишнее. Ему даже не хотелось вспоминать, как он заработал средства на эту поездку.

Когда он зарабатывал эти деньги, он и не думал, что он сможет предпринять такое путешествие. Тогда он, бывало, уже ничего не думал, он просто тупо делал свое дело, а иногда, когда становилось совсем страшно, начинал молиться. Он никогда не умел молиться, но тут само в голову шло – «Помоги, Господи, спаси и помилуй!». А когда он вернулся, у него появилась эта девушка. Он потратил то, что заработал, на поездку в Швейцарию. И они обещали друг другу, что будут счастливы.

Они ходили туда-сюда, потом проголодались и пообедали в ресторане. Там они заказали грибной суп и рыбу. Они нашли все блюда очень вкусными.

В ресторане было полутемно и тихо. Официант спросил их, какое вино подать. Они попросили белое.

– В Швейцарии великолепное вино, – сказал молодой человек.

– Ага, – согласилась девушка. – Но мы же не в Швейцарии?

– Нет, мы в Лихтенштейне. Но вино швейцарское. Они для себя его приберегают. Самое лучшее вино они берегут для себя.

Она засмеялась и тряхнула своими кудряшками.

– Да, – сказала она. – В другой стране. Непривычно, правда? Проехал два часа – раз, и другая страна. А горы здесь такие же, как в Швейцарии.

– Да они, в принципе, везде одинаковые, – пробурчал молодой человек. Ему стало вдруг грустно. Он вспомнил, что он видел много гор, и они были совсем не одинаковые. Но какой-то чертенок дергал его за язык, и он сказал так, как сказал, покривив душой, и ему стало

грустно. Он знал, что стоит начать врать, и уже не остановишься. Все это он знал и гнал от себя изо всех сил, но это было сильнее его воли, и он сосредоточился на рыбе, потому что он не хотел никакой грусти и неправды. Он хотел быть счастливым, таким, как утром, когда он глядел на рассыпавшиеся по подушке волосы. Но ему стало грустно, и он ничего не мог с этим поделать.

Девушка искоса посмотрела на него, но промолчала. Подошел хозяин и спросил, все ли в порядке. Они ответили, что да, огромное спасибо, все в порядке. Все отлично, прибавила девушка. Очень здорово, уютно, вкусно. Она говорила по-английски, и хозяин прекрасно понял ее. Он остался доволен.

– Хочешь еще здесь побродить, малыш? – спросил после обеда молодой человек.

Девушка, прищурившись, поглядела на замок и на облака, цепляющиеся за вершины гор. Горы здесь были ниже, чем те, которые они проезжали по дороге, но ей показалось, что в Лихтенштейне природа просторнее.

– Пойдем, если здесь есть, куда идти, – сказала она.

Молодой человек подумал.

– Да особо и некуда. Здесь все близко, – ответил он.

– Тогда поехали на озеро. Как ты его называл?

– Walensee. Ва-лен-зее. Мы его проезжали. Это там, где тоннель. Помнишь, там была табличка – Murg?

– Помню. Это город такой?

Молодой человек не был уверен, можно ли назвать Мург городом.

– Населенный пункт, – ответил он. – Там ходят катера на противоположный берег. Это нечто восхитительное, малыш. Клянусь тебе, это здорово. Такого ты нигде не увидишь.

– Да? – спросила девушка. – Отлично. Я тебе верю. А то в Вадуце здорово, но, знаешь, как-то скучновато. Мне казалась, что в Европе должно быть иначе.

– Как это – иначе?

– Ну... не так скучно. Мне казалось, что Европа – это движение, большие города, все комфортное, светлое, все время что-то происходит. Что-то такое... веселое. Жизнь бурлит. А здесь – скучно. Горы, да замок этот. Я бы хотела зайти внутрь, а ты говоришь – нельзя, это резиденция князя. Фу. Глупо, по-моему, выкидывать столько денег, чтобы поглядеть снизу на эту глыбу, которую и посмотреть нельзя.

– О, господи, – сказал молодой человек, и ему стало совсем грустно. – Все в Европе есть. И большие города, и движение. Но мы-то в Лихтенштейне. Это же очень маленькое государство. Здесь все рядом. Замок ей понадобился. Скучно ей. Нужно тебе движение – езжай в Париж. С этим, как его.... Чернявым. Он же в последнюю нашу встречу все про Париж вопил, и тебя просто поедал глазами. И ты с него глаз не сводила. Вот и езжай с ним. Или вообще никуда не езди. В Москве движухи полно.

Девушка надула губки. Ее милое лицо на секунду вытянулось и стало злым, но она сразу справилась с собой.

– Я просто сказала, что тут скучно. Ну нельзя в замок, так нельзя. Поедем на озеро, ладно? Не сердись. Пожалуйста, не сердись.

Они вернулись к машине, и девушка думала, что у нее превосходный молодой человек, великолепный, умный и честный, столько всего знает и ее любит – о, ну какие тут могут быть сомнения, но как же с ним бывает тяжело. «Надо терпеть, - подумала она. - Надо сжать зубы и терпеть. Он часто срывается, но надо все это вытерпеть. Ради нашего счастья».

Но что-то ушло такое, что было очень важным, что-то совершенно не осязаемое, но необходимое. Она вспомнила «чернявого». На самом деле «чернявый» был очень мил. Если бы у нее не было молодого человека, она бы с удовольствием пофлиртовала с «чернявым». Они отчего-то все время ссорятся. Все время говорят про какие-то ужасы и ссорятся. Она знать не желает, о чем они все

время спорят, ей нет дела до этих ужасов, но, право слово, «чернявый» бывает очень мил, а молодой человек – невыносим. Ну вот зачем он это все говорил сейчас, когда было так хорошо!

В Мурге пришлось подождать катера. Они сидели на набережной, молодой человек курил, а перед ними качались лодки, много лодок. Они скрипели и качались на маленьких волнах озера, и это было такое чудесное озеро, что молодой человек приободрился и стал дышать глубоко, словно стремился затаить в легких хотя бы немного здешнего воздуха. Хребет на другом берегу – далеко – подходил, казалось, прямо к воде. Почти везде он падал в озеро отвесно, но иногда встречались пологие возвышенности, и там, на этих склонах, совсем крохотных, виднелись дома и море разноцветной зелени.

От Мурга было хорошо видно, какой это могучий хребет. Он был до того могуч и суров, что кружилась голова, но девушка сумела разглядеть на крохотной морщинке где-то посередине между небом и землей домик. Она показала его молодому человеку. Он до этого не обращал внимания на домик.

– Ух ты, – сказал он. – Как высоко.

Он взял фотоаппарат и попытался сфотографировать домик, выдвинув до предела зум. На кадре было видно, что это простое белое строение. Было видно, что эта морщинка — здоровый уступ, и вокруг растет мощный сосновый лес. Выше уже располагались серые, выглядящие совершенно неприступно скалы, и девушка спросила:

– Как же туда добираются? Что это такое? Неужели там живут?

Молодой человек пожал плечами.

– Может, вертолетом? – предположил он. – Или это охотничий домик. Хотя не знаю, туда же поди заберись. Это же надо специальное снаряжение, наверное, чтобы туда взобраться.

– Здорово, – сказала девушка и положила голову ему на плечо. Он обнял ее и подумал, что они обещали друг другу быть счастливыми, а коли так, это обещание надо выполнять. Обещания всегда надо выполнять, да только не всегда получается. Какого черта! Они ведь любят друг друга, что еще надо для счастья? Бог мой, подумал он, ну что тебе еще надо для счастья? Ну что ты мучаешься? Вот ведь – Швейцария, безумно красивое озеро, прекрасные скалы, невероятные пейзажи, нигде такого не увидеть; а мы это видим вместе – самое главное – вместе, и у нас еще впереди две недели, чтобы все смотреть, бродить, гулять, любить друг друга, заказывать блюда в элегантных ресторанах с чертовски элегантными названиями, наслаждаться жизнью... Здорово! Здорово, пропади оно все пропадом.

Они дождались катера и сплавали у подножью этих гор, которые почти везде падали вертикально вниз, и девушка на секунду забыла все, что ее тяготило и печалило, потому что так, как в Квартене, нигде не было – такое буйство красок, природы, зелени – она никогда не видела, чтобы в одном месте росли и березы, и елки, и какие-то экзотические деревья, и тут же – виноград, и тут же – куча цветов. Здесь такой микроклимат, пояснил молодой человек. Сюда, к подножью этого хребта, можно добраться только на катере. Исключительно. Нет другого пути. А машины перевозят на паромах.

Молодой человек все знал. Он хорошо подготовился к этому путешествию. Он все прочитал заранее.

– Здесь такой микроклимат. Вот именно у подножья этих гор. Видишь, на том берегу все иначе. А здесь так. Даже погода тут особенная, – говорил молодой человек.

Какой-то местный житель ходил вдоль живой изгороди с пылесосом и собирал опавшие листья, а у дороги, у дома, увитого плющом, стоял лоток с баночками с вареньем и всякой всячиной, и молодой человек пояснил:

– Если ты хочешь, возьми, купи что-нибудь.

– Хочу, – тряхнула она кудряшками. – А как?

– Вот, видишь? Берешь баночку, тут цена. В этот ящик кладешь деньги. И все.

– Как, прямо вот так? А если я не заплачу? – рассмеялась девушка. У нее было превосходное, романтическое настроение. Она глядела на озеро, чистое, невероятно голубое озеро, в котором отражались скалы, и у нее был замечательное настроение.

– Здесь это не принято, – сказал молодой человек. – Здесь платят.

– Какие наивные люди.

– Хм. Наивные. Может, просто порядочные? Знаешь ли, это не то, что у нас. Здесь все на доверии.

– Что, прямо так вот и на доверии?

– Да.

Девушка помрачнела. Она помолчала и спросила:

– А у нас с тобой тоже все на доверии?

Молодой человек почувствовал себя так, как будто врезался лбом в столб. «Вот оно, сказал он себе. Начинается. Ну почему здесь?»

– Конечно, малыш, – сказал он, изо всех сил стараясь не сорваться. – У нас с тобой все на доверии. Мы с тобой такие, доверчивые. Мы с тобой доверяем друг другу, верно?

Девушка поняла, что ее терпение сейчас лопнет. Только что ей нравилось озеро, но сейчас она глядеть на него не могла. И на скалы. И на эти проклятые баночки.

– Хорошо, – сказала она. – О’кей. Они здесь очень порядочные. Все тут порядочные. Честные. Умные. Я пошутила. Я тоже порядочная. Ты порядочный. Все порядочные. Черт, все такие порядочные, с ума сойти. Пошли обратно на катер.

Молодой человек еще ничего не понимал.

– Малыш, рано еще. Смотри, какая там тропинка. Пойдем? А то спустимся к воде.

– Нет, – сказала она. – Поехали в Цюрих. Я устала. Надоели мне порядочные и честные.

– Ну вот... Ну что ты... Я думал, тебе понравится, – пробормотал молодой человек. «Надо же, подумал он, кто бы мог подумать, что это будут эти идиотские баночки». Он продолжал что-то по инерции говорить.

– Мне понравилось. Мне очень, очень, очень понравилось, – сказала девушка. – Можно, я тебя попрошу об одной вещи?

– Конечно.

– Пойдем на катер, и поедем домой. Я устала.

Она не произнесла ни слова, пока машина не прибыла в Цюрих. У отеля молодой человек расплатился с водителем. Он повернулся к девушке, но она сразу пошла в номер. Молодой человек не пошел за ней. Он закурил. Ему захотелось что-нибудь сказать шоферу. Что-нибудь хорошее.

– Швейцария – прекрасная страна, а вы, швейцарцы – прекрасный народ, – сказал он. – Вам жутко повезло, что вы здесь живете. Вы даже не представляете, в какой замечательной стране вы живете.

– Ich bin ein Serbe, - ответил водитель. - Sie morgen brauchen ein Auto?

Молодой человек посмотрел на раздвижную дверь отеля и покачал головой:

– Nein, – сказал он и прибавил по-русски:

– Боюсь, что машина завтра нам не понадобится.

Борис Петров *родился в Москве в 1976 году. В начале 90х годов поступил на исторический факультет МГУ, который не закончил. В юности был участником нескольких археологических экспедиций.*

С 2003 года – журналист, редактор. Имеет публикации в нескольких сетевых изданиях. Эта публикация – первая в "толстых" литературных журналах.

ВАЛЕРИЙ СКОБЛО

В СТОРОНУ “ВУЛКАНА”

ТРАМВАЙ ПРОСЛЕДУЕТ К ЗАВОДУ "ВУЛКАН"... Сроду "шестерка" туда не ходила, да и непонятно, как она туда попадет?.. то ли по "тридцатке": свернет на Чапаева, то ли по Кронверскому, до "Великана"?.. - уже и "Великана" нет никакого... там пойдет по Введенской, по Зелениной и по Чкаловскому... а тогда назывался Геслеровский... и если дальше пройти по Зелениной, там слева дом, фасад сверху разрисован картинами, все потускнело, но кое-что можно разобрать, приходила же им блажь в голову, правда, в доме жили художники... если зайти во второй двор, то на шестом этаже - большие окна, там были их мастерские, а еще дальше, на третьем, были тогда дровяные сараи в два этажа, это, когда запретили держать дрова в подвале - там решили делать бомбоубежище, снова, как в войну... если просыпался рано - отец на работе, мать по магазинам доставала что-то съестное, перебегал босиком комнату и нырял в родительскую постель, на тумбочке стоял динамик - уже не "тарелка", но какой-то допотопный, тогда казалось чудом, включал, думал попасть на любимую "Угадай-ку", начиналось в десять, но время по будильнику научился понимать года через два, всегда оказывалось раньше, до дрожи боялся: передавали какие-то заявления про бомбу, было так страшно, что заползал под одеяло с головой, даже руку боялся протянуть, чтобы выключить, потом начиналось что-то детское, бывало, и "Угадай-ка", внутри медленно отмерзало, ужас уходил понемногу, но не совсем, не до конца, назавтра все повторялось... когда болел, отец доставал удлинитель и подводил радио к его кровати, во время болезни время становилось тягучим... на стене была ямка: перестукивался с соседями - и штукатурка вывалилась... своих детей у них не было,

они нянчились с ним... когда квартира боролась с клопами, в ямку сыпали дуст, он выковыривал его пальцем, странно: никому не приходило в голову заделать, было не до того; какой же был год? пятидесятый или пятьдесят первый?.. потолок был с лепкой в центре, сначала оттуда свисала лампочка, потом появился абажур с бахромой, было шикарно, соседи приходили смотреть... бомбоубежище в подвале так и не сделали, решили: не поможет, опять там были дрова, отец брал "летучую мышь", свет плясал на влажных стенах, какое было счастье, если его брали, дрова пахли сырой свежестью, осина, а если по ордерам давали березу - значит, повезло, почти посредине комнаты стояла времянка, еще с блокады, мать и переселилась в эту громадную коммуналку, когда поняла, что в вымершей и вымерзшей квартире на Морском у ЦПКО одной не выжить, потом времянку убрали, стали топить большую кафельную, часто угорали, еще не было газа и парового, о телевизорах не слыхали, сосед приносил диаскоп, гасили свет в коридоре, вешали простыню на дверь, смотрели диафильмы, могло ли быть что-нибудь прекрасней?.. поймали с соседом в помойном ведре муху, посадили в спичечный коробок, бросили в Неву: через Финский залив, Балтийское море, Атлантический океан приплывет в Америку, вылетит из коробка, на помойных полно микробов - пусть знают, как слать шпионов и грозить бомбой, сосед водил толстым пальцем по карте, сказал: доплывет... бросили где-то в тех краях - у "Вулкана", ходили туда гулять, из труб била радужная вода, прямо в реку, об экологии слыхом не слыхали, весной рыбаки облепляли топкий берег; как пахла салака!.. еще были снетки, таскал их из банки и сосал, мать ругалась, но не было сил удержаться... снетки - дочка не видела их никогда и не объяснишь... первыми пропали керосинки, провели газ, круглый громадный счетчик, как кричали на кухне, когда делили деньги за газ, а за электричество почему-то делили мирно, может,

привыкли... пришел тот март, через весну, лето и еще год надо было идти в школу, подружка по двору сказала: я так плакала... ему было стыдно, что не плакал... все притихли, ждали чего-то... снег подтаял, в первый раз спрыгнул со второго этажа бывших дровяных сараев в почерневший сугроб... через год сараи снесли, стали строить котельную, долбили пол, стены и потолок, можно было подглядывать на четвертый этаж, жили на пятом, окна выходили в первый двор, там был крохотный круглый садик, огороженный чугунной решеткой, дверца почти всегда была на замке, летом там что-то цвело, но летом он был на даче, совсем отвыкал от города, трамваи жутко громыхали, соседи говорили: как вырос... переклеили обои, не стало ямочки, вместо абажура повесили люстру, но дрова еще купили, говорили: для колонки в ванной, но там отродясь никто не мылся, просто, не очень верили в паровое... на полках стояло несколько томиков из собраний сочинений, которыми мать обогревалась в блокаду...

К ЗАВОДУ "ВУЛКАН", ПО КУЙБЫШЕВА И ДАЛЕЕ ПО ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТОМУ МАРШРУТУ... К "Вулкану"... но разве туда попадешь? значит, лучше выйти здесь ...если бы все вернуть, не стал бы ничего переделывать в той жизни, только бы потрогать, вдохнуть тот воздух, взглянуть... отец и мать еще были живы, они были моложе его - теперешнего... может, записать, потом вспомнить еще, хоть немножко продвинуться туда - к "Вулкану"...

...Шагнул с подножки - и напрочь забыл об этом.

ВРЕМЯ

(16:23)

На сбор класса я не пошел. Мы должны были встретиться у "Сенной" в пять, все прикупить и собраться в шесть у Лены. Я подумал: Наташа и Кирилл идут, чтобы посмотреть друг на друга; Настя и Валя идут, чтобы пообщаться с мужиками; мужики идут, чтобы выпить;

Лена говорит, что она устала за неделю и вообще не хочет, чтобы у нее собирались, да ее просто уломали; а я-то, зачем пойду? Я так Пашке и сказал по телефону, он обиделся, конечно... хотя он-то идет не только, чтобы выпить. Встал я, несмотря на субботу, еще семи не было, переделал какие-то пустяковые дела, и решил поспать полчасика, тоже ведь устал за неделю. Больше, чем полчаса-час, мне днем поспать никогда не удается, да и бывает это очень редко. Прилег я в час дня. Мне приснился такой сон. Я должен пойти на митинг, он тоже начинается в час. Я подумал, зачем я пойду на митинг? - лучше я к матери зайду на Большую Зеленину, а то давно у неё не был. Она 30 лет назад умерла, и последние 12 лет жизни жила совсем по другому адресу. Но на Зелениной я родился и прожил первые 23 года жизни. Пришел я туда... и начало сна как-то не очень отчетливо помню: то ли она сама, уходя, успевает мне сказать, то ли соседи передают, что она, мол, ушла на митинг к часу, но долго он не продлится, и она скоро придет. Вопрос, зачем мать пошла на митинг, в голову мне не пришел. Я подумал: посплю часик до ее прихода, ведь так устал за неделю. На часах у меня - час дня. Мать и отца я уже не очень хорошо помню; конечно, я всегда могу посмотреть на их фотки, но в памяти, как и на фотках они разные, потому что сняты и всплывают в разном возрасте, поэтому их облик немного расплывчат, смазан. Раньше главным, определяющим, был их вид накануне смерти, но с тех пор столько времени прошло, что образ их за все года стал равнозначен, потому и размыт. Ну, вот, а обстановку в нашей комнате на Зелениной я, если немного напрягу память, могу вспомнить в мельчайших деталях, потому что в ней за 23 года моей жизни ничего почти не менялось. А во сне все наоборот: обстановка, мебель в комнате нечеткие, как не в фокусе, только приблизительно похожи на реальные, как в тумане или полумгле. Ложусь я на эту приблизительную кровать или диван и засыпаю.

В реальном-то сне я один раз проснулся: в комнату зачем-то зашла Таня, и я перебрался с дивана в одной комнате на кровать в другой. И сразу снова заснул. Снился мне этот сон только во второй части, или прервался и возобновился с того же места, сказать не могу. В том своем сне во сне я несколько раз просыпался, смотрел на часы и удивлялся, чего же я так разоспался... и снова засыпал. Потом вздрогнул и проснулся окончательно: на часах было 16.23. Ё-моё!.. - а мать-то где? она же давно должна была вернуться с митинга! Неприятный холодок пополз по спине: на митинге всякое могло случиться, да и старенькая она у меня. А как узнать? Позвоню-ка я ей на "мобилу". И сразу чувствую, что здесь что-то не то. А "мобила"-то у нее есть? Где-то в самой глубине пошевелился и утих вопрос: а вообще-то "мобилы" сейчас бывают? Что такое "сейчас" быстро угнал в самый краешек сознания. Ну, конечно, есть у нее "мобила", у всех они есть, номер я не помню, но наверняка он забит в памяти моего аппарата. Услышал какие-то звуки на кухне - прежде, чем позвонить, решил пойти проверить. Прошел длинным темным коридором, почти наощупь, но так и было в жизни, на кухню. Ну, да, так и есть: мать, только скинув пальто, даже не сняв свою старенькую, сто лет ей в обед, серую каракулевую шапку, жарит мне рыбу на сковородке; что - мне - это очевидно, задержалась там, на митинге, и беспокоится, что я тут голодный. Я говорю ей, что, мол, ты бы хоть шапку сняла, а она: "да, ладно, быстро мой руки, Лерочка, сейчас все будет готово", но шапку все же снимает и протягивает мне: отнеси, мол, в комнату. Кухня, и соседки какие-то в ней - тоже все размыто, нечетко, а мать - так отчетливо, как давно, с самой ее смерти, не видал, и на шапке этой дурацкой - каждый завиток так отчетливо виден. Я застываю с шапкой этой в руках на кухне, шапку надо в комнату снести, руки быстро помыть: мать волнуется... а я застыл, и такая тоска наваливается острая, как нож под сердце. Мать волнуется:

скорее Лерочку надо накормить, а Лерочке... уже за 60, и в глазах у матери - эта бессмысленная, нерассуждающая любовь... какой меня никто и никогда не одарит в жизни. И еще тоска от того, хотя я и гоню эту мысль туда же, за край сознания, как и мысль о невозможном здесь мобильнике, что этот мир, в котором я стою с матерью на кухне, совсем... никак... катастрофически несовместим с миром, где Таня, Ольга и мои внуки, мальчики Петя и Коля... И это так больно, что я просыпаюсь от резкой и мгновенно проходящей боли в сердце. На часах - 16.23.

Валерий Скобло *- поэт, прозаик, публицист. Родился в Ленинграде в 1947 г. Окончил мехмат ЛГУ. Работал научным сотрудником в ЦНИИ "Электроприбор". Сборники стихов "Взгляд в темноту", "Записки вашего современника", "О воде и воле". Член Союза писателей Санкт-Петербурга.*
Стихи, проза, публицистика публиковались в российской и зарубежной (Австралия, Англия, Беларусь, Болгария, Германия, Дания, Израиль, Ирландия, Казахстан, США, Финляндия, Эстония и др.) литературной периодике. Лауреат премии им. Анны Ахматовой (2012), финалист международного конкурса стихотворного перевода "С севера на восток" (2013), дипломант литературной премии им. А.А. Ахматовой (2015).
Живет в Санкт-Петербурге.

АЛЕКСАНДР ПЕТРУШКИН

И дождь, который стая птиц,
и смерть, в которой жизнь
свила горячее гнездо
для многих своих лиц –

всё это ремесла итог,
что вытащит с земли
своих прозрачных мертвецов,
которые смогли

увидеть то, что нам живым,
увы, не разглядеть,
и потому их плотный хор
нас продолжает петь

среди стрекоз или кротов,
которые внутри
сплелись, как некий средний род,
который подвели

его отмазки и печаль,
и кожа, но не та –
таится, как звезда, печать –
бугриста и густа.

И вот, когда к моим устам
прибьётся темнота –
которую не избежать,
возможно/никогда –

взорвётся наш стеклянный куст
и некто посетит
мои земные небеса,
к которым снег летит,

и я покину чёрный куб
чужого языка,
с родимым пятнышком,
что спит, как птаха, у виска

И распрямляя дождь, как взгляд,
который без меня
летит сквозь молока спираль
всем мертвецам родня

и видит только зеркала,
что исполняют сад,
идущий, с трёх своих сторон,
не требуя наград,

где птицы – это только дождь
и жалость о себе,
ты смерть свою к себе прижмёшь
во всём её х/б.

И будет продолжаться сад
и смех пустых стрекоз,
которые боятся нас
и двойников обоз,

где ангелы звенят внутри,
и в скважины на свет,
ложатся, как вода легки,
и убирают смерть.

ФОМА
Не снег упал, но человек в него
себя вложил, как речь или мерцанье
экрана, где не видишь своего,
и запечатан изнутри неявно

совсем иной, грачиный тёмный глас,
дудит в трубу полночной карусели,
что крутится внутри себя, как лаз –
то, как лицо, то, как нутро метели.

Фома, Фома, опять всё пропустил,
как воробей сквозь слепоту и руки,
и облака твои опять густы –
с той стороны, где кирпичи и звуки

опять в снегах идёт к тебе стена
как ниточка и свет неприглушённый
и ты ей внемлешь – будто ты вина
кувшин для голоса и тьмы приготовлённый.

Не свет упал, но человек в него
сложился – тем преодолев мерцанье,
и не равна длина длине его
ожогов на перстах на опознанье.

ФОТОГРАФИЯ ЗМЕЯ
В силок попав даггеротипов общих
бумажный змей артачится и ропщет
на это небо, что его лакает
собачьим языком из нашей дали.

Он удаляется – чужой и мне и небу,
воде и человеку или хлеву
и озеру, которые врастают
в свои потопы – ничего не ради.

Бумажный змей уже наполовину
не виден здесь [ещё мы видим спину
его сутулую – на ниточке не нашей] –
и, в урне погребальной воспылавши,

он бегуном, раскинув свои восемь
прозрачных ног, в хрусталике уносит
циклопью слепоту или печали,
и там свистит – как будто на причале

там станет лодкою еще одной поболе,
ещё одной историей и полем
многоязычным – где уста смыкая
он спит в росе, чужбин земных не зная.

***

Неудержимый мчится сон,
как электричка в полой птице –
и что он нам? и что мы в нём?
когда дрожащая ресница,

замедлив свой сухой полёт,
летит к порогу, выгорая
не в выход для себя, но код,
что осветит окрестность рая,

который спит внутри неё
и видит, как она в сон входит,
прозрачный обхватив живот
его несбывшейся породы,

и гонит кадры его вспять
на свет, что ей прочтён, как стужа,
когда – над тьмой всей наклонясь –
она летит его снаружи –

пока он здесь летит на свет,
что сжат в ресниц её пеленках –
поскольку недетей здесь нет,
и нет похожих на ребёнка,

поскольку виден сквозь разлом
скорей не смысл, а лесорубы,
где птица небо, словно вяз,
в густые поцелует губы.

***
Уже не я живу, но он растёт во мне,
как свет, что выпадает по центру ноября
и щурится на снег, что кружится в огне,
его волчок распадом, как атом, заведя.

Уже не я иду, но он идёт со мной,
и ласково со мною о всём своём молчит,
и кормит молоком чужие поезда,
и это молоко внутри меня горчит.

Сужаясь в голос мой и сумерки мои,
он стаей воробьёв ложится вдоль меня
и длятся пузыри ожогов и следов,
когда не я живу, от смерти отклонясь.

***
Потраченный песок,
что Бог оставил нам,
становится оленем,
взбегая по холмам,

становится детьми,
что спят вовнутрь себя
и учатся любви,
почти что не любя,

становится тобой,
почуявшей меня,
становится углём,
что в ёмкости огня

закручен, как спина
у стрелок часовых,
что крутятся внутри
деревьев неживых,

становится иглой
в руках у темноты,
которая игрой
со смертию на ты

увлечена – и что
ответить нам теперь?
когда она дрожит,
прозрачная, как дверь,

где ветерок хрустит
в несбывшейся руке,
где мы теряем вид
в расплывшейся реке,

где зверь закроет тьму
на солнечный сентябрь
в который я нырну
чтоб вынырнуть без жабр,

в котором никого,
но – атомарный свет,
что отдаёт нам Бог,
которого здесь нет,

проходит сквозь двоих,
что, как мутанты спят,
пока целует в лоб
их Бог, как жеребят,

в просыпанный песок,
из света заходя,
который, словно дно,
звенит внутри дождя.

ENCARNACIYN HIERBA
Гляди, как воплощается трава,
себя теряя в тёмном переходе,
как корни завязав в ней два угла
из животов вытягивают всходы,
как из аорт её бьёт хлорофилл,
когда в её атлас косноязычный
садится мотылёк и изблизи –
поскольку близорук – то цапкой тычет
то [ощутив в своём нутре словарь]
наощупь, на двоих с ней, брайля ищет.

Гляди, как будто внятно и легко –
из темноты, она, почти по птичьи,
себя в свет шепчет, чтобы воплотить
своё несмертье и, возможно, вычтет
потёмки, что [как будто близнецы
на опознанье] друг на друга тычут.
Гляди, как воплощается трава
в твоё лицо, пока пролито снами
оно в холмы и крынки, на крыльцо,
которое становится кругами,

следами на поверхности её,
что шевелится смертью, но не нами
Теперь не ей за нами умирать,
и по утрам вернувшись по тоннелям –
как астму в тесном горле очищать
несбывшегося мира раздвоенье,
горенье кадра, что ушёл за кадр,
как ангел, различающий неверье

что будет смерть, как женщина долга
и мятна, как о ней стихотворенье.

ты вспомнишь воплощение своё,
когда проснутся стрелки часовые
и развернутся ангелы её,
как дочери, почти уже не злые,
и в хлорофилле поплывут холмы
как смех, что плачет между поездами
где боги принимают вдох за вход
и за травой воды плывут кругами.

Александр Петрушкин *–*
российский поэт, прозаик, драматург, критик. Родился в 1972 году. Публиковался во многих литературных журналах, включая «Урал», Аврора», «Крещатик», «Нева», «Знамя»... Лауреат литературной премии «ЛитератуРРентген» (2007) в номинации «Фиксаж» – лучший нестоличный издатель поэзии. Лауреат литературных премий журналов «Дети Ра» (2008), «Зинзивер» (2010), спецпремии "Русского Гулливера" (2014).
Автор десяти сборников стихов. Координатор независимой поэтической премии «П». Куратор евразийского журнального портала «Мегалит», главный редактор литературного журнала «Новая реальность». Живет в г. Кыштым Челябинской области.

АЛЬБЕРТО МОРАВИА

СТРАХ*

Этот рассказ классика итальянской литературы впервые переводится на русский

Наступило лето, и мама решила, что мне, проболевшему всю весну, хорошо было бы поехать на месяц вдеревню – набраться сил, отдохнуть.

Она списалась со своим братом, жившим в *Sant'Oreste*, и спросила его, не знает ли он там какого-нибудь крестьянина, который мог бы приютить в своём доме на месяц молодого человека без особых претензий.
Дядя ответил, что да, знает такого: владелец небольшого хозяйства. Дом его стоит у предгорья, среди каштановых деревьев.

Мама сразу сказала: Именно то, что тебе нужно. Будешь дышать свежим воздухом, жить в семье, в доме, окружённом каштановыми деревьями, выспишься, будешь питаться свежими продуктами, придёшь в тело, и увидишь – вернёшься домой совсем другим.

Честно говоря, предстоящая поездка особого восторга у меня не вызывала: оказаться далеко от дома, вне привычного окружения – бара, кино, остерии – да для меня это было бы подобно смерти! Но болезнь моя была действительно серьёзной, чувствовал себя далеко не оправившимся от болезни, и в конце концов решил, что поеду.

Ну решил-то я скорее на словах. На деле же перспектива похоронить себя среди каштановых деревьев мне мало нравилась, и я мог только надеяться, что постепенно свыкнусь с необходимостью это сделать. Но нет – наоборот: чем больше я думал об отъезде, тем меньше я мог убедить себя, что должен ехать.

Между тем пришло письмо от крестьянина, который был согласен приютить меня у себя на месяц –

звали этого крестьянина Туллио Точчи.

В письме, написанном корявым почерком, где каждый знак напоминал скорее музыкальную ноту чем букву, Точчи сообщал, что твёрдо надеется на мой приезд в конце июля, ждёт, что я обязательно приеду. Завершил он своё письмо как типичный неотёсанный невежда, обращением на "ты": "Чего тебе делать в Риме? Приезжай сюда. Увидишь, как быстро поправишься" – то же самое, те же слова, точка в точку, что говорила мне мама. Но мама-то говорила мне это от любви, настоящей материнской любви, а от строчек письма Точчи веяло какой-то насмешкой, письмо показалось мне глумливым, издевательским по тону.

Я положил письмо в ящик стола; отвечать Точчи я не собирался.

Шло время. Наступила типично римская жара, какой она бывает в Риме летом. Я продолжал вести свою обычную жизнь: вставал поздно, спускался в бар обсудить с друзьями последние спортивные новости, шёл в кино, время от времени ездил на прогулки – в Остию, в *Castelli*i. Под конец июля пришло второе письмо от Точчи. На этот раз он писал, что его жена и дочь ждут с нетерпением моего появления, что всё готово к моему приезду, и что мне у них наверняка понравится. Заканчивалось письмо таинственной, тёмной по смыслу фразой: "Ты обещал, и нарушить это обещание не можешь. Не приедешь – пожалеешь". Эти последние слова ещё больше усилили мою антипатию к Точчи.

Я сказал маме, что вижу в этих словах Точчи угрозу, и что угрожать мне я никому не позволю. Она ответила, что Точчи – необразованный крестьянин, не умеющий правильно выразить свою мысль. Конечно же, он хотел сказать: не приедешь – будешь потом жалеть, что пропустил такую возможность.

Я ответил, что может быть так оно и есть, но всё равно: что у меня общего с такой семьёй, что я там

собираюсь делать? Судя по письму Точчи, он – грубый крестьянин, мужик, покрепче камней в его огороде; жена его – такая же крестьянка, из тех, кто целый день торчит у топящейся углем плиты, то и дело поддувая опахалом огонь, чтобы лучше разгорелся; дочь их – такая же грубая, неотёсаная девица, превосходящая красотой разве что осла. В такой семейке, при всём свежем воздухе, каштановых деревьях и прочем – да меня там сгрызёт тоска, я умру от скуки.

Но мама сказала, что вот именно немного скуки, отвлечения от моих привычных развлечений мне и нужно, чтобы прийти в себя, успокоиться, выздороветь.

В конце концов – капля камень точит – я смирился и сказал маме – разговор наш был в пятницу – что да, хорошо, поеду в воскресенье. Мама сразу отправилась в мою комнату и стала вынимать из комода мои вещи, чтобы подготовить меня в дорогу.

У меня от этой поспешности, от этого порыва так испортилось настроение, что и не описать; мне показалось, что мама хочет выставить меня из дома.

Я ей это и сказал. От сказанного я ещё больше взвёлся, обвинил мать, что она не иначе как хочет моей смерти, потому что у Точчи я точно умру от тоски – и сказав это, я хлопнул дверью и вышел из дома.

Был вечер. Я спустился в бар на *Piazza Mastai*. Там уже собралась наша обычная компания.

Друзья, видя меня в таком мрачном настроении, спросили, в чём дело, и я рассказал им всё и показал оба письма от Точчи.

Один из них, Луиджи, прозванный за жёлтый цвет и постояно кислое выражение лица „Лимоне“, сказал мне с оттенком то ли ехидства, то ли злорадства: По моему мнению, Ремо, ты вовсе не должен туда ехать.

– И почему?

– Потому что этот Точчи кажется мне опасным типом.

– Что ты хочешь этим сказать?

– Хочу сказать, что это дело, скорее всего, ловушка.

– Ловушка?

– Да, именно. Он завлечёт тебя в свой дом, потом ограбит, убьёт и закопает в своём саду где-нибудь под капустной рассадой.

Честно говоря, я ничего такого не думал, но вдруг то, что сказал Луиджи, показалось мне правдой.

Сам того не зная, Лимоне назвал словами то чувство которое у меня вызывал Точчи – чувство, которому я до этого не смог дать названия: страх.

Между тем Лимоне продолжил описывать, отчасти ради забавы, желая надо мной посмеяться, отчасти серьёзно, в самых мелких деталях, как Точчи будет меня убивать; друзья, получившие новую замечательную тему для развлечения, хохотали, корчась от смеха.

Но мне смешно не было; я думал о том, что как вот всё совпало: два письма Точчи, показавшиеся мне саркастическими, насмешливыми, издевательскими по тону – и может быть, таковыми они и были – моя болезнь, заставившая меня хотеть провести месяц в деревне, мама, которая от любви ко мне желала моей смерти, Лимоне, предостерегавший меня от опасности – и я, не знающий, прислушаться или нет к его совету – потому что не верил, что его слова, произнесённые с оттенком то ли ехидства, то ли злорадства, стоит принимать всерьёз.

Между тем друзья, видя мою взволнованность, стали насмехаться надо мной: "Свежий воздух, питание как дома, жизнь в семье на всём готовом! А потом, когда ты войдёшь в тело, как следует пополнеешь, Точчи отрубит тебе голову." Так, в таких вот насмешках, сперва в баре, потом в остерии, прошёл вечер.

В меня вошёл страх, я был всерьёз напуган, и оттого и жареный молочный поросёнок, и вино, что мы пили, казались мне отравленными.

Вернулся я домой поздно, около трёх ночи, лёг спать – и мне сразу стали сниться страшные сны, из которых я запомнил последний, приснившийся перед тем, как я проснулся.

Я увидел себя на поляне перед домом Точчи, в районе *Sant'Oreste*.

Там стояло красивое каштановое дерево, со склонёнными к дому ветвями. На дереве росли во множестве каштаны – ещё не раскрытые, в зелёной скорлупе, усеянные маленькими, белого цвета колючками. Вдруг одна из скорлупок упала на землю, открыв свежий-свежий блестящий коричневый каштан, упавший вслед за скорлупкой и сразу покатившийся в сторону дома, к двери, ведущей на кухню.

Я видел, как каштан, вертясь волчком, взбирается по лестнице – ступенька за ступенькой, и наконец вкатился на кухню. Я, желая его поймать, вошёл за ним. Но каштан, вертясь волчком, увернулся от меня и быстро, сверкая на свету, закатился между двумя рядами бочек; вдруг за моей спиной закрылась дверь, я очутился в кромешной темноте и стал наощупь продвигаться по кухне, ища дверь.

Меня охватил жуткий страх: мне показалось, что я заперт на засов где-то под землёй, и я начал что есть сил кричать.

Но чем сильнее я кричал, тем больше мне казалось, что крик, выходящий у меня из горла – безмолвный, не слышный и мне самому.

В конце концов я проснулся, понял, что кричал на самом деле, и стал нащупывать выключатель надкроватной лампы. У моей кровати сидел, глядя на меня, какой-то совершенно неизвестный мне человек.

Было позднее утро, сквозь занавеску просвечивало солнце. Я посмотрел на сидящего передо мной человека. Широкоскулое, загорелое, прожжённое солнцем лицо крестьянина, искривленный от непонятно какого

напряжения рот, сухой, жёсткий крючковатый нос, сверкающие из под лба маленькие глазки.

Одет он был в чёрное, рубашка без воротника застёгнута на шее пуговицей.

– А, наконец-то ты проснулся, – произнёс он.

Я пробормотал:

– Ты кто?

– Точчи. Я несколько раз позвонил, но никто не подошёл. Дверь была открыта, я и вошёл. А знаешь ты, что уже полдень? Ты что – спишь до полудня?

Я подумал, что мама, наверное, пошла за покупками и не закрыла дверь.

Я спросил Точчи:

– Чего ты здесь вообще хочешь? Кто тебя звал?

– Никто меня не звал. Я сам пришёл. Ты едешь ко мне или нет?

Теперь я понял причину этого визита.

После того, что я услышал от друзей вчера, его настойчивость говорила сама за себя. Я сказал ему, чтобы он подождал меня пару минут. Я встал, умылся, причесался, натянул брюки, одел спортивную майку. Всё это время он молча смотрел на меня, буквально вперив в мня взор маленьких сверкающих глаз. Наконец я сказал:

– Ну вот, я готов. Спустимся в бар, возьмём кофе и поговорим.

Мы спустились к *Piazza Mastai* и сели в кафе снаружи. Он шёл рядом и я увидел, что ростом он ниже меня, что у него широкие плечи, длинные руки и короткие кривые ноги.

Он сказал, что хотел бы выпить вина. Я ответил, что в кафе вино не подают и он удовлетворился стаканчиком вермута, проглотил этот вермут залпом. Потом, обтерев рот рукой, сказал:

– Веришь, что мои ждут не дождутся, когда ты приедешь? Ты должен решить: едешь или не едешь. Так как – да или нет?

Чобы выиграть время, я сказал:

– Письма, которые ты мне писал, мне не совсем понятны.

– И что в них непонятно?

– Ты ничего не говоришь о питании, о том, чем будете меня кормить.

Он ухмыльнулся – а может быть, мне показалось – и медленно произнёс: Питание? Домашнее, ясное дело. Что может быть лучше жизни в семье? Будешь жить как в твоем собственном доме, даже и лучше; тебе здесь в магазинах всучат чёрт знает какую дрянь, а у нас всё наше, домашнее.

– А у вас там наверху свежий воздух?

– Ещё какой свежий! Ветерок дай бог – почувствуешь!

Я посмотрел на него – мне показалось, что он надо мной издевается. Но нет – он говорил серьёзно; только глаза у него что-то слишком сверкали.

– Хорошо, а комната?

– Дадим тебе комнату, такую, что тебе и не снилось, с двуспальной кроватью, будешь спать как мёртвый, так что и не проснёшься никогда.

– Никогда?

– Сказал просто так.

– А чем будете меня кормить?

Этот вопрос его, видимо оскорбил.

– Погляди на меня, как думаешь, здоров я или нет?

– Думаю, да.

– Здоров потому что ем здоровую пищу. Пару тарелок пасты, фасоль. Кролика. Ты любишь кролика?

– Люблю.

– Вот. Будешь питаться как следует, поздоровеешь. А потом – ты у нас не первый. Год тому назад у нас жил один, тоже, как ты, из Рима.

– И кто это был?

– Тебе что за дело, кто это был?

– Ну, для сведения.

– Нет, не скажу, кто был, – произнёс он вдруг решительным тоном

– И почему? Наверное, ему было у вас плохо, и ты не хочешь, чтобы я узнал, как было на самом деле.

– Не скажу, кто был, и всё. Не желаю. Да и имя тебе ничего не скажет

– В таком случае я к тебе не еду.

При этих словах лицо его приняло угрожающее выражение. Он встал и сказал:

– Ты обещал, и ты поедешь. Гляди, вон там стоит мой мотороллер, – он показал на наш дом, у стены которого действительно стоял прислонённый к ней мотороллер – сядешь на заднее сиденье и поедем.

– Да ты дурак!

– Дурак это ты, а вдобавок ещё и обманщик.

С этими словами он протянул руку, собираясь, кажется, взять меня за воротник. Я перехватил его руку и произнёс, вперив взгляд ему в морду:

– Ты, деревня, где находишься? Думаешь, у себя в свинарнике? Ты в Риме и я римлянин. Попробуй только ещё раз коснуться меня, увидишь, что с тобой будет.

Он понял, что перехватил, пробормотал что-то себе под нос и быстро, почти бегом направился к площади. Я видел, как он сел на мотороллер и уехал.

Я поднялся домой.

Мама была уже дома; стояла у стола и выкладывала на него из сумки покупки. Я сразу рассказал ей историю с моим страхом и мою встречу с Точчи. Когда я закончил, она улыбнулась:

– Ты слишком впечатлителен. По-моему этот Точчи вполне приличный человек, только немного неотёсаный.

– Но почему он так настаивал, чтобы я приехал?

– Ну потому что они зарабатывают на жильцах.

– А почему он не захотел назвать мне имя того, кто был у него в прошлом году?

– Может быть, Точчи взял с него меньше, чем получил бы в твоём случае.

Так я не поехал в деревню, и проводил свой отдых в Риме, между Остией и Кастелли. В течение всего лета каждый раз, раскрывая газету, я ожидал увидеть сообщение, что Точчи убил своего жильца. Ничего в этом плане не случилось. Но я говорю маме, которая смеётя над моим страхом, что если и не в этом году, то уж в каком-то из будущих Точчи в один в прекрасный день кого-нибудь обязательно убьёт.

Перевод с итальянского Моисея Бороды

**Alberto Moravia. La paura. RACCONTI ROMANI*

***Castelli Romani - включающая шестнадцать коммун область в Альбанских горах, в нескольких десятках километров от Рима. Курортная зона, включающая озёра, природный парк, и пр.; любимое место отдыха римлян*

Моисей Борода *– доктор музыкологии. Окончил Тбилисскую консерваторию (1971). Стипендия фонда Александра фон Гумбольдта (1989) за исследования взаимосвязи музыкального и естественного языка. С 1989 г. – в Германии.*
Автор рассказов, стихов, публицистики, переводов. Изданы четыре книги. Публикации в Грузии, Израиле, США, Германии,Украине, в журналах и на литературных сайтах. Член Союза композиторов и Союза писателей Грузии, Международной Гильдии писателей и лит. объединения немецкоязычных авторов, проживающих в земле Северный Рейн-Вестфалия.

РОМАН СОЛОДОВ

ЧТО ПРОИСХОДИТ СО СРЕДНИМ КЛАССОМ

Америка: социальный срез

К концу 2015 года наша страна наконец-то официально вышла из затяжной рецессии. Это было признано ведущими экономистами мира и США, прежде всего, главой ФРС Джаннет Йеллен, а также рядом ультраконсервативных обозревателей типа Раша Лимбо, ни разу не сказавших ни одного доброго слова в адрес президента Обамы. Федеральный Резерв поднялбанковскую ставку с нуля до четверти процента. Это событие ожидалось с огромным нетерпением.

Выздоровление налицо, однако шло оно очень медленно, если сравнивать его с подъемом экономики после Великой депрессии 1929 года. Правда, при этом забывают, что страна в конце тридцатых снова попала в кризис, из которого вышла только после вступления во Вторую Мировую войну. Но это уже принадлежит нашей истории.Она, кстати, ознаменовалась тем, что на арену вышел средний класс как становой хребет общества.

Именно «белые» и «голубые воротнички», так сегодня называют средний класс, превратили Штаты в то государство, в котором мы живем многие десятилетия. Могучая держава, с высоко развитой технологиями и инфраструктурой, отличающаяся стремительным внедрением новшеств в любой отрасли, единая перед лицом внешних и внутренних проблем. У этого класса, куда входили инженерно-технические работники, ученые, менеджеры среднего звена, банковские служащие, высококвалифицированные рабочие, по заслугам была самая высокая заработная плата по сравнению с их коллегами из других развитых стран. В США были сильные профсоюзы, служившие отличным противовесом

алчности владельцев предприятий, и это их заслуга в том, что в нашей стране одни из лучших условий труда.

Средний класс мог с полным основанием заявить о себе: я есть Америка! Этот класс олицетворял собой моральное здоровье нации.

Можно долго рассказывать о достижениях среднего класса страны и петь ему дифирамбы. Но все это в прошлом. Да, уровень знаний по-прежнему высок, мастеровитость осталась, талантами народ не оскудел. Произошло другое: **утеряны позиции среднего класса как станового хребта нации.** Но этого публично еще никто не признал.

Образ идеального среднего класса отсылает к послевоенному экономическому подъему в США. Миллионы простых американцев смогли позволить себе приобретение собственного дома – если в 1944 году было построено 114 тыс. новых домов, то уже в 1950 году эта цифра достигла 1,7 млн. А потом наступил автомобильный бум, стало доступным разнообразие бытовой техники, а в конце пятидесятых появились кредитные карты, число которых за следующие десять лет достигло 100 млн штук.

Однако затем опросы общественного мнения показывали растущее число представителей среднего класса, утверждавших, что уровень их жизни становится хуже. Последним всплеском оптимизма был 1997 год, когда 57% опрошенных отмечали, что чувствуют впереди большие перспективы. В 2008-м половина «среднеклассовых» американцев в этих опросах заявили, что никакого прогресса в уровне жизни и заработка у них нет, а 31% считают, что стали жить хуже, чем пять лет назад.

Еще более резкие оценки дает американский эксперт Уилл Марр. «Реальные доходы людей в США не растут уже 35 лет. Среднестатистический молодой человек 25-34 лет получает на 17% меньше, чем его отец в том же

возрасте. За последние 25 лет доход верхних 20% населения вырос на 75%. Доходы всех остальных либо упали, либо стоят на месте. Среднее американское домохозяйство получает на 2 тыс. долларов меньше реального дохода в год, чем в 1975-м».

С чего это экспертывыдали такие мрачные выводы? Статистика показывает, что средние реальные доходы американцев за последние 40 лет в абсолютных величинах росли? Так ли это? Сравнить данные статистики с другими, показывающими рост долгов домохозяйств. Картина становится ясной сразу – тогда как доходы росли, но крайне незначительно, долги нарастали как снежный ком. В результате уровень задолженности среднего американского домохозяйства с начала 2000-х годов стал устойчиво превышать уровень годовых доходов и продолжал расти.

Может быть, граждане США, что называется, «заелись» и погрязли в сверхпотреблении? Нет. На семьи с низким доходом, которых, по их данным, 40% от всего населении США, приходится 12% общего американского потребления, на средний класс (50% населения) – 46%, а оставшиеся 42% потребления «падает на плечи» сверхбогатых. Средний класс берет кредиты на жилье, учебу детей. Так, стоимость обучения в колледже в среднем возросла на 44%!

Конкретный пример. Лет шесть назад институт по подготовке медицинских технологов, который я закончил, устроил встречу выпускников. Я поинтересовался, сколько стоит обучение сегодня. Когда услышал ответ, еле устоял на ногах в прямом смысле этого слова. Ответ был – 31 тысяча за год обучения. За такой же срок я платил 6 тысяч в 1991-1992 годах.

...Одной из основных причин этого является рост стоимости жизни в Соединенных Штатах. Банковская **с**суда или аренда жилья, особенно в больших городах,

медицинское страхование и различные виды сервиса начинают кусаться, расходы на это растут гораздо быстрее, чем заработная плата**.** Достаточно сказать, что величина среднего недельного чека в Америке за последние восемь лет практически не увеличилась и составляет чуть менее 800 долларов. А семейные траты все время увеличиваются. В результате число «работающих бедняков» в стране с каждым годом прибавляется, пишет аналитический портал End Of American Dream.

Еще каких-нибудь два десятилетия назад среднестатистическая американская семья жила вполне благополучно, если выплата ссуды за купленное жилье или его аренда не превышали 30 процентов дохода, то сейчас многим семьям среднего класса не хватает и половины заработка, чтобы оплачивать жилье.

Рассмотрим рост только транспортных расходов горожанина в Нью-Йорке. Раньше парковка машины стоила в Манхэттене 25 центов за полчаса. Сегодня на этом же месте счетчик не примет у вас 25 центов – счет идет только на пятьдесят, и после оплаты он выдаст разрешение только на... 8 минут. Хотите иметь парковку на час? Придется раскошелиться. А как вздорожал общественный транспорт? Во что обходится проезд через мосты и тоннели, ведущие в город? Несколько лет назад это было 6-7 долларов. Сегодня в среднем уже 15! Сотни тысяч водителей платят теперь эту сумму ежедневно!

Если кто-то сможет найти слайс пиццы за 99 центов, как это было еще несколько лет назад, можно сказать, что этому человеку крупно повезло. А как подорожали продукты! Ну да, цены взлетели вверх из-за дорогого бензина – перевозки входят в стоимость. Но сегодня галлон бензина здорово подешевел, а цены и не думают падать.

При этом инфляция в США весьма низкая. Как хитро ее вычисляют, я лично ума не приложу...

Неприятным проявлением этого процесса является рост стоимости медицинского страхования. Приходя к власти, президента США Барак Обама обещал сократить размер ежегодных платежей по этой статье на 2,5 тысячи долларов для каждой семьи. В действительности ценник только вырос – в среднем на 4,8 тысячи долларов на семью. В результате десяткам миллионов семей все труднее сводить концы с концами, а размер среднего класса сокращается**.**

...Демографы забили тревогу совсем недавно. Она была вызвана результатами исследований уровня смертности среди «голубых воротничков» (квалифицированных рабочих) в развилке от 45 до 54 лет. Выявилась достаточно тревожная картина: полмиллиона человек потеряла наша страна за период 1999-2013 г. г. Разумеется, за этот временной промежуток умерло гораздо больше народа. Но эти полмиллиона есть то самое количество смертей, которое можно было предотвратить:уходы из жизни были вызваны, прежде всего, психологическими причинами. Депрессия и напрямую связанные с ней самоубийства, алкоголизм, наркомания, чувство безнадежности, перманентная усталость, малоподвижный образ жизни, ощущение собственной ненужности вносят существенную лепту в смертность среди белых мужчин среднего возраста. Более того, **общее состояние здоровья** среди этой возрастной группы **хуже,** нежели среди возрастной группы от 65 до 75 лет. К порогу Медикейра эта группа придет в тяжелом состоянии. (Не лишне будет добавить, что за этот же период уровень смертности среди мужчин старшей возрастной группы... снизился на 2 %).

За это же время уровень смертности возрастной категории от 45 до 54 лет в других развитых странах, таких, как Германия, Канада, Франция, Англия, Австралия, не поднялся, но даже слегка снизился. А в Швеции и

Австрии резко упал. Если в конце XX века по уровню смертности этой возрастной группы наша страна была ничуть не хуже остальных развитых государств, то сегодня она оказалась в «гордом одиночестве» с уровнем смертности более 400 случаев на сто тысяч. В Швеции этот показатель сейчас порядка 200 случаев, в Германии – меньше 300. И дело не в плохом медобслуживании, но в образе жизни, ибо большинство преждевременных смертей вызвано в США социальными условиями бытия, проще говоря, утратой значительной частью представителей среднего класса прежнего стабильного и во многом привилегированного положения, а отсюда – пессимизм во взглядах на свое ближайшее будущее, вызванное естественным старением.

Почему так? Ведь рецессия 2008 года коснулась Европы не в меньшей, если не в большей степени! Причин несколько, и мы коснемся их в дальнейшем изложении. Одна же причина видна, как говорится, невооруженным глазом: в отличие от США, жителям Европы гарантированы приличные пенсии, жизнь в прозябании и бедности им не грозит, как это происходит у нас. Дело в том, что у нас размер пенсии в значительной степени зависит от состояния финансового рынка, весьма нестабильного за последние годы. Начало 2016 года с огромным падением показателей котировок на фондовых площадках –лучшее тому подтверждение. В Европе же размер пенсий гарантирован независимо от экономики. Там люди уверенней смотрят в будущее.

Почти половина американцев, готовящихся к выходу на пенсию, сегодня не скопили достаточно денег для того уровня жизни, к которому привыкли, когда работали. Целое послевоенное поколение вырастало на предвкушении заслуженной старости без финансовых проблем. В середине жизни многие из так называемых «бебибумерс» обнаружили, что они находятся в

незавидном положении в сравнении с их родителями. Приходит конец американской мечте...

А как обстоит дело с черными и испаноязычными? Их уровень смертности не поднялся и не упал. Причины ясны – они составляют сравнительно небольшую долю в контингенте среднего класса Америки. Потому сегодняшняя ситуация их коснулась меньше. Кроме того, у них и не было особых надежд на «счастливое будущее» их самих и их детей. Желающие делать карьеру и полноценно трудиться пробивались – государство таких традиционно поддерживает разного рода грантами, бесплатным обучением и другими льготами независимо от пола, цвета кожи, вероисповедания или происхождения. Большинство же в силу многих причин не двигалось вперед. Впрочем, это уже иная тема, выходящая за рамки данной статьи...

Одно из объяснений критической ситуации – изменение характера производства. Скажем, почти исчезла работа в обрабатывающей промышленности. Например, профессия токаря практически исчезла. Их заменили автоматы, напичканные электроникой. И обслуживает эти автоматы один человек. Исчезла сегодня работа той части строительной индустрии, которая традиционно заполнялась людьми с невысоким уровнем образования. В какую бы отрасль промышленности мы не заглянем, перемены огромны. И все они связаны с практическим исчезновением той или иной рабочей профессии.

В стране за последние десять лет исчезли два миллиона рабочих мест. Удар пришелся по среднему классу. Неудивительно, что сегодня согласно опросу CNN 49% белых недовольно сегодняшней экономической ситуацией. Среди испаноязычной группы таких только 34%, а недовольных черных 23%. Винят Обаму, Конгресс, Уолл-стрит, а винить следует, прежде всего, развитие технологий, внедрение хайтека, демографические изменения, глобализацию. Никакие Трампы, обещающие

избирателям восстановление прошлого величия Америки, ничего сделать не в состоянии. Это классическая демагогия, когда играют на проблемах людей и обещают вернуть прошлое. А его уже не вернуть.

Уместно вспомнить еще об одной причине постепенного ухода с основной арены среднего класса Америки. Глобализация! Кратко ее можно обозначить как процесс интеграции и взаимодействия среди народов, компаний, государств, как процесс, обусловленный международной торговлей и инвестированием и опирающийся на информационные технологии. Это слово родилось в 80-ых годах прошлого века и означало оно, помимо всего прочего, уменьшение возможности правительств влиять на экономику своих стран. Многонациональные корпорации стали доминирующими игроками на мировой рынке.

Можно говорить о положительном влиянии этого феномена на мировой рынок, на экономику стран с самым разным уровнем развития. Прогресс очевиден. Достаточно сказать, что количество голодных смертей в странах периферийного развития за последние пятнадцать лет сократилось многократно!

Но не все так светло и безмятежно. Антиглобалисты собирают на марши и митинги протеста тысячи людей. Сцены драк с полицией, использования водометов, полицейских, волокущих протестующих по улице к автозакам, стали привычными. Почему люди протестуют против, казалось бы, явного прогресса? Не значит ли это, что у глобализации, как у всякого мирового явления, есть обратная сторона? Конечно, есть и весьма существенная.

Назовем только одно явление, напрямую связанное с глобализаций: аутсорсинг. Слово можно не переводить. Все знают, что это такое. Не буду ссылаться на статистику, сколько потеряно рабочих мест в нашей стране, сколько

людей остались без работыиз-за этого явления. Приведу только один личный пример: моя жена осталась без работы, ибо закрыли весь ее отдел и его функции передали индийским программистам. А так как ей уже было за пятьдесят, то приличную постоянную работу она больше не смогла найти. Доход нашей семьи упал. В такой ситуации оказались сотни тысяч человек в нашей стране. Это были люди с дипломами, с опытом. Они потеряли работу, а богатые владельцы компаний стали еще богаче.

По счастью, аутсорсинг в программировании быстро сошел на нет. Выяснилось, что зарубежные программисты и аналитики не врубаются в тонкости ведения американского бизнеса. Их надо было практически заново обучать, и все равно это не помогало. Кроме того, остро встал вопрос безопасности ведения бизнеса...

А вот ситуация в знаменитой компании Apple. Она получила чистую прибыль за последний год в размере 34 миллиардов долларов при численности персонала 80 тысяч человек. Прекрасный результат! Но заводы по производству айподов размещены в Китае. В самой Америке работают дизайнеры, программисты, клерки, работники рекламы. Они-то и получают львиную долю зарплаты и дивидендов в размере 183 миллиарда долларов. В Китае остается только один процент от всех заработанных компанией денег. Сама индустрия с миллионами рабочих никуда не делась, она оказалась в Китае при тех же американских хозяевах. Там на сборке американского электронного ширпотреба работали 1.2 миллиона человек. Почему не американцы? Ответ ясен. Рабсила в Китае пока была дешевле. Сегодня знания и мозги ценятся гораздо больше, нежели умение работать на сборочной линии.

Так было до недавнего времени. Но сейчас картина меняется – работы, покинувшие Америку, постепенно возвращаются. Процесс этот можно только

приветствовать, хотя он пока еще не стал заметным на рынке труда.И тем не менее, в Америке происходит то, о чем лет пять назад никто и подумать не мог. Промышленные компании, много лет назад переместившие свои производственные площадки в страны с дешевой рабочей силой, возвращают операции на родину. И что самое поразительное – они делают это из соображений экономии. Оптимисты считают, что речь идет не много ни мало о начале индустриального ренессанса в США.

Среди последовательных сторонников теории возрождения индустриальной Америки нужно особо выделить экспертов The Boston Consulting Group (BCG). Их первая резонансная работа на эту тему была опубликована в августе 2011 года. Авторы утверждали, что растущие издержки постепенно подрывают позиции Китая как страны базирования для производства товаров с последующим их экспортом в США. В 2000 году рабочий китайской фабрики зарабатывал в среднем 52 цента в час, или всего 3% от того, что получал его американский коллега. Но у первого ставка с тех пор ежегодно росла двузначными темпами, а у второго – едва сдвинулась с места, в том числе и благодаря кризису. К 2015 году средняя зарплата рабочего в промышленно развитой долине реки Янцзы достигла 25% от американского уровня, а с учетом ряда иных факторов подобралась к 60%. И США в итоге становятся лучшей альтернативой для размещения ряда производств.

Эксперты BCG выделили в качестве приоритетных производство компьютеров и электроники, транспортных средств, машинного оборудования, металлоизделий, электроприборов (в том числе бытовой техники), изделий из пластика и мебели. Собственно, это те отрасли, которые в США и так трудно назвать вымершими. Например, 52% покупаемой американцами бытовой техники – это товары отечественного производства. В BCG полагают, что до

конца текущего десятилетия компании могут вернуть 10 – 30% этих производств в США. С учетом усиления экспортного потенциала рост перечисленных отраслей может дать экономике 2-3 млн рабочих мест и $80-120 млрд годового дохода.

А что же Apple? Компания возобновляет в Америке производство одной из моделей компьютеров Mac. А в городе Уитсетт, штат Северная Каролина, скоро тоже запустят новый сборочный цех по производству компьютеров.

Но наиболее яркий пример – компания General Electric, которая в свое время была пионером международного промышленного аутсорсинга. В прошлом году она начала заново обживать Appliance Park в Луисвилле, штат Кентукки. Этот огромный промышленный комплекс был построен еще в начале 1950-х годов и достиг пика своего развития в начале 1970-х. Затем GE принялась сворачивать бизнес в Америке: там остались только инженеры, а производство было перемещено в более дешевые страны. К середине 2000-х жизнь в Appliance Park едва-едва теплилась. И вот год назад компания запустила новый цех по сборке водонагревателей, которые прежде делала в Китае. Невероятно, но факт: в результате возвращения производства в Луисвилль GE смогла предложить американским покупателям водонагреватели почти на 19% дешевле своих же китайских аналогов. К тому же их качество стало выше, энергопотребление – ниже, а доставка требует меньше времени. Вскоре компания открыла еще один цех для производства холодильников, предшествующие модели которых выпускала в Мексике. На очереди третий, где будут делать посудомоечные машины.

GE оказалась не одинокой в своем начинании. В конце 2011 года компания Otis открыла новый завод по производству лифтов в штате Южная Каролина, перенеся

туда и сборку, которой до этого более 10 лет занималась в Мексике.

Согласно докладу директора Института нефти, Америка вышла на первое место по добыче этого источника энергии, и в ближайшие 10-15 лет реальной замены нефти и газа не предвидится. В этой отрасли промышленности никакого аутсорсинга быть не может. Нефть в Мексику не сбежит. И ее очень много в недрах нашей страны. Нужны будут десятки, сотни тысяч рабочих для добычи полезных ископаемых. У среднего класса появился шанс «подняться с колен». Заработки в нефтедобывающей промышленности традиционно высоки. Надо переучиваться? Да, надо. Но это реальная перспектива покончить с ощущением безнадежности, охватившей средний класс.

Быть может, в этих переменах и перспективах – залог возвращения среднего класса на прежний уровень? Хотелось бы верить... Однако пока что нынешнее положение упадка (не постесняюсь этого определения!) не дает повода для оптимизма.

Роман Солодов *– сценарист, писатель. Член Союза кинематографистов России. В 1991 году эмигрировал в США. Получил профессию технолога по радиоизотопной медицине, проработал по этой специальности почти 20 лет.*
За это время написал несколько романов, изданных в Москве, рассказы, повести, множество статей, опубликованных в русскоязычной прессе США. Недавно в издательстве «Литучеба» в Москве вышел его последний роман «Время откровений»
Автор нашего журнала.
Живет в Нью-Джерси.

МАРК ШТЕЙНБЕРГ

ОДИССЕЯ СЕРЖАНТА ГАЛКИНА

К 75-летию начала Великой Отечественной войны

В военное училище попал я сразу после призыва в самом конце войны. И застал там пустые казармы, по которым слонялся взвод таких же новобранцев. Отсюда недавно был отправлен на фронт последний выпуск, и командование пребывало в неведении, продолжать ли подготовку офицеров в том же ускоренном ритме, раз война кончается. Мы переоделись в форму и выглядели в ней... ну, как и должны выглядеть салаги зеленые (так нас звали старослужащие). Подметали помещение, трудились в подсобном хозяйстве...

Меж тем, прогремела Победа, отзучали салюты. Наконец-то явилась директива: подготовку офицеров продолжать. Видимо, с учетом предстоящей войны с Японией. И через неделю прибыл эшелон с батальоном из курсов младших лейтенантов 1-го Белорусского фронта. Такие курсы были во всех фронтовых объединениях. За 3-4 месяца они готовили офицеров из специально отобранных, наиболее опытных сержантов-фронтовиков. Мы убедились в этом, впервые увидев их колонну, прибывшую с вокзала. Все – с набором медалей и орденов, в ладно подогнанном, хоть и не новом, обмундировании, сапожки в гармошку. По всему видно было – эти люди прошли сквозь фронтовое пекло, повидали тысячи смертей.

Нас, молодых, свели в один взвод, а сержантами – фронтовиков назначили. Через несколько дней начались занятия. Для нас, новобранцев, были они подчас непосильными: бесконечные марш-броски , полоса препятствий, ползанье, рытье окопов. И все – с полной выкладкой. Казалось порой – все, падаю и помираю. Но

сержанты поднимали, забирали оружие, тянули, падать не давая. И я вставал и бежал, бежал – откуда силы только брались. Потом постепенно привык.

А в казарме фронтовики общались с нами снисходительно-дружески. Учили солдатским премудростям терпеливо, голоса не повышая. Да и не требовалось : все мы очень старались, стремились на них походить.

А тут и японцев победили неожиданно быстро. Накал занятий убавился малость. Все ожидали – училище военного времени прикроют. Случилось это, однако, лишь в конце года. А пока ускоренная подготовка курсантов к боям неизвестно с кем продолжалась.

Имела место, однако, и другая жизнь – личная, говоря по-казенному. И в ней-то процветала так-называемая «любовь по переписке». Почти каждый из этих молодых мужчин за годы отлучения от нормальных отношений с женщинами приобрел далекую подругу в виде почтового адресата. И вел весьма интенсивную переписку. В отдельных случаях «почтовая любовь» перерастала в реальную и даже завершалась браком, после демобилизации.

Об этом очень точно написал Борис Слуцкий:

...И письма шли в глубокий тыл,
где знак вопроса гнулся и кружился,
как часовой, в снегах сомненья стыл,
знак восклицанья клялся и божился...

В ходе таких заочных отношений, естественно, каждый старался составить у далекой подруги самое благоприятное о себе впечатление. Кроме фотокарточки, требовался для этого и текст, почувствительней и пограмотней. С последним, однако, у большинства возникали проблемы. По сей причине весьма востребованы в казарме были грамотеи, способные составить необходимый текст, который потом старательно

переписывали другие курсанты. А в нашей казарме главнейшим из грамотеев был я. Мало того, что мог сочинить письмо, так еще и стихи в него включал и цветочек изображал. Так что, ежевечерне – когда ночных занятий не было – я вел интенсивную эпистолярную деятельность: восседал в ленкомнате перед очередью страждущих высокого штиля для своих посланий. Более того, в очереди томились и курсанты других рот училища, куда дошел слух о небывалом грамотее.

Месть

В другой роте и служил сержант Ефим Галкин, разыскавший меня в одно из воскресений. Отличался он кличкой «Фима-шкаф» из-за телосложения. Высоченный, с невероятно широкими плечами, мощной грудью, массивными руками и ногами. При помывке в бане поглядеть на обнаженного Фиму собирались толпами. А поглядеть было на что. Торс, будто из бронзы отлитый, булыжники брюшного пресса, ноги-колонны. И – мужское достоинство соответствующих габаритов. Естественно, и мощью обладал Фима богатырской. Прям-таки феноменальные возможности демонстрировал. К примеру, с пулеметом «Максим» в сборе на плечах марш-броски совершал.

Еще отличался сержант Галкин полным отсутствием наград на гимнастерке. В те времена принято было все ордена-медали носить постоянно. И у курсантов – отборных воинов, которых и собирали на фронтовых курсах для скоротечной подготовки в офицеры, таких наград было достаточно. А у Фимы – ничего. Только три нашивки над правым карманом гимнастерки – две красных и желтая: два тяжелых ранения и легкое. И это у воина, за плечами которого четыре года фронтовых? Да еще в армейском разведбате служившего. Загадка.

Ну, и наконец – был Фима Галкин евреем. Да не по анкете только – семитские черты лица, картавый говорок

свидетельствовали о том немедленно и неопровержимо. А в училище было иудеев всего несколько на полтыщи курсантов. Считая Фиму и меня. Но я-то не выделялся. А «Шкаф» – еще как!

Итак, нашел он меня в воскресенье и говорит: «Потолковать с тобой надо. Ты мне можешь помочь, надеюсь». И рассказал о себе то, что в шок меня повергло немалый.

Фима земляком оказался моим, из Умани родом. А город этот известен не только на Украине, но и за ее пределами благодаря парку «Софиевка». Основанный в 1796 году польским магнатом Станиславом Потоцким, названный в честь его жены Софии Витт-Потоцкой, он – воистину шедевр паркового зодчества. Но более всего знаменита Умань могилой великого цадика реб Нахмана. Он был погребен 17 октября 1810 года на старом кладбище в Умани, среди двадцати тысяч евреев, убитых гайдамаками в этом городе около 400 лет назад. Паломничество к могиле продолжается на протяжении двух веков...

Подробности истории Умани я узнал гораздо позже. А тогда лишь кое-что рассказал мне Фима. Он жил на улочке неподалеку от того самого кладбища, в семье балагулы – возчика. Отец владел парой лошадей и площадкой – безбортовой телегой для перевозки грузов. Кроме Фимы-старшего, в семье было еще двое девочек. Отец также отличался невероятной физической мощью, трудился от темна до темна. Но жили бедно и Фима уже в детстве стал работать. В школе проучился лишь несколько лет, потому и был малограмотным.

В армию Фиму призвали в первые дни войны. Воевал в пехоте. Но вскоре стал полковым разведчиком – благодаря силушке своей неимоверной. Отступал до Воронежа, наступал до Берлина. Умань была освобождена от фашистов 10 марта 1944 года. Оказался Фима сравнительно недалеко от города и попросил командира

разведроты отпустить на три дня в родные места. Не мог ротный отказать доблестному разведчику.

Фима добрался до Умани за сутки, увидел развалины, такие же как и в других местах по пути на Запад. Но потрясло, душу вывернуло и другим человеком сделало, когда узнал он судьбу своей семьи и немалой родни. И всех евреев уманских судьбу кошмарную. Притом, что повальное уничтожение евреев для фронтового разведчика не могло новостью оказаться. Знал он об этом. Однако...

Первого августа 1941 года, когда Умань заняли немцы, в городе находилось более 18 тысяч евреев. А уже утром 21 сентября более тысячи евреев пригнали во двор городской тюрьмы. Большинство из них загнали в тюремный подвал. И заперли наглухо. Они стояли тесно, присесть не было возможности. И умерли, задохнувшись, стоя. Остальных евреев, после зверских надругательств, полицаи добили прикладами, ломами и топорами. Полицаи были украинцы, но не местные. Местную полицию сформировали потом.

В октябре появился приказ: всем евреям переселиться на Старый базар, в гетто. При переселении украинская полиция следила, чтоб не взяли с собой лишнего. Оставленное тут же разграбили местные жители. Спрятаться или убежать смогли единицы – куда от соседей спрячешься. В большинстве своем евреев и выдавали соседи, сослуживцы, знакомые и даже друзья бывшие.

В гетто у Старого базара многие умирали от голода и болезней. Уцелевших в начале 1942 года согнали в урочище «Товста дубина» и в Каменный Яр и расстреляли. И стал город цадика Нахмана «юден фрай» – «свободен от евреев».

Не избежала этого и семья Фимы – отец, мать и две сестры, хотя и не пошли они в гетто. Их выдали соседи и за ними пришли полицаи. Отца выгнали на улицу к другим мужчинам, а мать и сестер избивали и насиловали в доме.

Услышав их крики, отец выскочил из толпы, вырвал винтовку у полицая и, как дубиной действуя, стал колотить полицаев. При его-то силушке почти каждый удар был смертельным. А он бил, бил, пока его не застрелили. Прикончили и мать и сестер.

А дом уцелел во всех перипетиях уличных боев. И жила в нем семья , обитавшая до того в подвале на соседней улице. Фиме сказали, что один из них служил немцам в Управе. Таких, впочем, было в Умани немало. Имена некоторых Фима узнал. Подробностей выяснять не стал, чтоб не светиться. У него оставались сутки до возвращения в часть. Мимо Умани шел поток военных машин, на которых он и расчитывал уехать.

Но сначала решил отомстить за гибель семьи. Бывалый разведчик, Фима выследил троих бывших полицаев и убил поочередно. В полночь он швырнул в окно родного дома термитную ампулу от огнемета. Дом запылал. А Фима остановил грузовик на шоссе, вскочил в кузов и вскоре был среди своих разведчиков. Его ни в чем не заподозрили.

...С 1944 года служил он уже в разведбате штаба 13-й армии 1-го Украинского фронта. Был сержант Галкин командиром группы захвата в поисковом подразделении. То есть, самую главную роль выполнял: «языка» брал и через «нейтралку» доставлял. Использовались при этом его недюжинная силушка богатырская и неутолимая ненависть, которая трансформировалась в неустрашимость. И «языков» притаскивал Ефим немало, иногда – в прямом смысле слова: заткнув ему рот, привязывал фрица к спине своей и полз от немецкой обороны к своему переднему краю.

Он мне рассказывал, что получал самое яростное удовлетворение в рукопашной. Дрался всегда остро заточенной малой лопаткой, рукоятку которой заменил на железную трубу. Рубил ею как мечом, вкладывая в удар

всю ненависть свою к ним, к палачам отца, матери, сестер. Он считал, что так – кроваво – он мстит правильно.

Но особо ненавидел Ефим полицаев. Фронт шел по Украине, и попадались в основном местные. Были еще и прибалты. Да и русские полицаи – тоже. Ефим шел на риск, убивая их. Потому как иногда это были пленные. И командир его знал обо всем. Но – молчал: семью потерял и он. Впрочем, потом Ефиму припомнили и эти убийства.

Штрафная рота

В конце июля 1944-го года 13-я армия, форсировав Вислу, захватила плацдармы на ее западном берегу и, удерживая их, готовилась к переходу в наступление. Начало его планировалось на середину августа. Случилось, однако, так, что конкретных данных о немецкой обороне раздобыть не удавалось. А скупые фотоснимки авиаразведки не раскрывали ни ее построения, ни оперативных резервов. Требовались «языки» , но все потуги войсковых разведчиков успеха не принесли. И в дело включили армейский разведбат. Под контроль его взял сам командующий 13-й армией генерал-лейтенант Пухов.

Командир разведбата выслал на передний край дюжину поисковых групп, но почти все разведчики либо погибли, либо вернулись ни с чем, кроме... Кроме тех, где группой захвата командовал сержант Галкин. Проникнув за передний край, его разведчики замаскировались в перелеске у шоссе и стали наблюдать за движением. И уже к ночи им повезло. В сопровождении бронетранспортера по шоссе двигался штабной вездеход. Галкин скомандовал, и разведчики подорвали бронетранспортер, уничтожили солдат охраны. Вездеход с офицером «взял» Галкин. Им оказался полковник инженерных войск. Его связали, уволокли в перелесок и стали продвигаться к переднему краю.

Место перехода было согласовано, и когда радист группы сообщил о готовности, артиллерия открыла отвлекающий огонь. Разведчики поползли по «нейтралке». Как всегда, Галкин тащил на спине связанного «языка». Но к своей траншее добрался лишь он. Остальные бойцы остались на «нейтралке», сраженные то ли вражеским, то ли «своим» огнем.

Фима перерезал веревки. Немецкий полковник встал на ноги и замычал. Хотел, видимо, чтобы Фима и кляп вытащил. Тот вытащил и рявкнул: «Геен, швайн, шнель, шнель!» По мнению Фимы, это означало: «Иди, скотина, быстрее!». Но полковник, видимо, обиделся и стал орать, не двигаясь с места. И тогда Фима его ударил... Он мне потом рассказывал, что прямо озверел, потому что потерял всех своих разведчиков, да и устал, ползая под огнем с этим полковником на горбу. Кроме того, тот обозвал его «ферфлюхте юде». То есть, «паршивым жидом». Ведь обнаружить еврейскую внешность Фимы не составляло труда. Ну, и... Удара Фима не рассчитал и убил полковника.

Сержанта Галкина немедленно арестовали. Еще бы! Взять такого важного «языка», доставить его к своим, потеряв остальных разведчиков своей группы, а потом убить... А время поджимало: до начала наступления с плацдарма оставались считанные недели. Так что трибунал для Фимы был сущим подарком, могли ведь и сразу пристрелить.

Впрочем, и трибунал приговорил его к расстрелу. Но, как велось в те времена, расстрел заменили штрафной ротой.

У него отобрали все награды, спороли сержантские лычки. И стал герой-разведчик обыкновенным штрафником.

А рота готовилась к разведке боем, которая должна была пройти ночью. Обычно же такие атаки велись в светлое время, чтобы засечь огневые точки на переднем

крае обороны немцев. Но на этот раз решили попробовать добраться до первой траншеи. Затея, прямо скажем, вполне провальная. Потому что требовалось преодолеть немецкие заграждения и минные поля. А расчет был на то, что фрицы не ожидают такой наглости.

Рота развернулась повзводно и поползла по нейтралке. При освещении ракетами – замирали. Доползли почти до переднего края немецкой обороны и нарвались на минное поле. Когда стали рваться мины, немцы открыли шквальный огонь. От ракет стало светло как днем. Но штрафники ползли и, преодолев проволочные спирали, ввалились в первую траншею. Пошла рукопашная.

Ефим, как всегда, дрался малой лопаткой, которую заточил перед атакой. Прорубившись в блиндаж, он застал там штабного унтера. Скрутил его, выволок на бруствер, привычно взвалил на спину и пополз к своим. По пути был ранен в ногу, но не остановился. И приполз, хотя сапог был полон крови. Его встречали, отвязали немца. А Фима потерял сознание. Очнулся в госпитале. Там узнал, что от роты уцелело меньше десяти солдат – тех, кто был ранен неподалеку от своей траншеи. Их вытащили потом. И все немедленно были из штрафроты отчислены и направлены в свои части, куда и прибыли после госпиталя. Были полностью реабилитированы. Ибо считалось – смыли кровью.

Ефим Галкин вернулся в свою разведроту и командир вдруг сообщил ему, что он представлен к Герою за тот бой. Потому что очень ценным оказался взятый им «язык», почти единственный перед наступлении с плацдарма. Впрочем, представление дальше командарма и не пошло. Он не утвердил: штрафника – в Герои? Спятили вы там, что ли! А если он такой отважный, то направьте этого Галкина на фронтовые курсы младших лейтенантов. А на представлении написал: «Достоин ордена Боевого Красного знамени».

Как понимаете, приказ командарма был немедленно выполнен и в марте 1945-го Фима прибыл на курсы. Но стать офицером не получилось, потому как война окончилась. Курсы расформировали, а поскольку предстояла еще война с Японией и никто не знал, сколько воевать придется, то курсантов направили в разные военные училища. Так и попал Фима в наше.

Орден Боевого Красного знамени Фима так и не получил, остальные отобрали перед отправкой в штрафроту, да так и не вернули. А было их у сержанта Ефима Галкина немало: ордена «Славы» 3-й и 2-й степеней, Боевого Красного знамени, Красной Звезды. И медали, естественно, в том числе – «За отвагу» двумя награжден, что бывало крайне редко. Фима начальнику курсов докладывал, пытался писать рапорты. Безуспешно. А теперь вот в училище оказался. Замполиту училища доложил. Тот пообещал разобраться, но сказал чтобы сержант Галкин сам написал письмо прямо Председателю Верховного Совета СССР товарищу Калинину. Мол, все награды оттуда идут, там учет имеется и там его дело решить могут быстро.

Но у Фимы с грамотешкой слабовато было . И вот, подумал он, что такое важное письмо в такие верха написать правильно сумею я. Видимо, свою роль сыграла моя известность сочинителя высококачественных писем к заочным подругам курсантов. Поэтому и решил Фима все рассказать мне, надеясь, что я с этой задачей справлюсь.

Уроки рукопашного боя

Я спросил:

– Фима, а ты знаешь в Умани улицу Почтовую ?

– Еще бы! Наша улица была с Почтовой рядом.

– А на Почтовой была аптека. Ты случайно провизоршу Полину не знал ли?

– Ну как же! Тетя Поля, кто же не знал тетю Полю! Ведь в Умани аптек было всего несколько и в эту мы и ходили всегда.

– Фима, друг, а может, ты и Полину маму знал ? Её звали Лея. Она жила на той же улице неподалеку от аптеки.

– Конечно, знал. Слушай, а ты что, бывал в Умани?

– Я там родился, Фима. Но потом отца перевели в Молдавию. А в Умани до войны я был один раз. Потому что Поля – моя тетя, а Лея – моя бабушка, мать моего папы. Но я так и не смог узнать, что с ними произошло в войну. А может, ты слыхал что-нибудь про них? Ты ведь был там...

И Фима рассказал, что они погибли страшной смертью в тюремном подвале.

Мы сидели с ним за казармой на развалинах старого забора. Было мне тогда около 18-ти. Последние четыре года вобрали эвакуацию на Урал, голод и холод в этом неласковом краю. Я считал себе не мальчиком, а взрослым. Мужчиной себя считал, ответственным за младшего брата, первым помощником матери.

В августе 1941-го на фронте погиб отец. Но даже когда похоронка пришла, не плакал я, нет. Хоть ком в горле стоял. Стоял и душил меня ком этот. Нет моего папы. Такого большого, такого сильного и надежного. Убили его немцы. Вот подрасту немного и отомщу. И я не плакал, нет. Самым любимым стихотворением моим было симоновское «Убей немца!»

...Так убей же немца, убей!
Так убей же хоть одного!
Сколько раз ты увидишь его –
Столько раз ты его и убей!

Я не заплакал, когда похоронка пришла. Асейчас, за казармой, с Фимой рядом – упал на землю. Забился в истерике. Кричал, бил кулаками, рыдал. Это Фима сказал потом, сам я не помнил. Он меня и с земли оторвал, и держал, не выпуская. Потом из фляги водой отпаивал. Из крана умывал, гимнастерку и брюки чистил. И утешал, утешал, говоря на идиш: «Вейн нышт, ингалэ, вейн нышт, абейтих, их об зей гешиссен, их об гекнат ди мердер». («Не плачь, мальчик, не плачь, прошу. Я их расстреливал, убивал этих палачей») И по-русски просил: «Не плачь, земляк, не плачь. Я отомстил, клянусь – отомстил. Сколько мог – убил. Покалечил гадов, и фрицев, и местных немало. Думаю – сотни две, не меньше. Считай, что и за тебя расплатился, земеля».

С тех пор не спускал с меня глаз Фима. Чтобы поближе быть, добился перевода в нашу роту. И курсанты одномоментно всё поняли. Меня и раньше не задирали, ради писем хотя бы. Но глядя, как Фима после отбоя ко мне на койку присаживается, руку кладет на плечо, сообщество курсантское выводы сделало немедленно и верно.

Был, правда, случай, когда один из фронтовичков «лихих» проехался по поводу евреев, таких как я. «Не воевал, мол, – и ты, Абгаша, на 5-м Украинском родину защищал». Я, как всегда, кинулся на него, получил под дых и упал. Когда очухался малость и встал – увидел Фиму, подходившего вразвалочку. Он не спеша взял правой рукой за шиворот обидчика. Приподнял и, держа на весу, тряхнул. Другой ладонью дал по уху и прошипел: «Сука ё...ная, тебе жизнь надоела, падаль? Я помогу, пи..юк, грязь окопная!» И швырнул его в проход между койками, так что тот пропахал полказармы.

Вечером командир роты капитан Сыроватский вызвал Фиму в канцелярию. Говорили про меня и Фима

доложил, что я его земляк. И что в Умани были убиты его родители и сестры. И что там же погибли моя бабушка и тетя. И что он искалечит любого, кто меня обидит. Капитан Сыроватский приехал с фронтовых курсов вместе с Фимой, его историю, в общем, знал и на вечерней поверке сказал, что сегодня в роте была драка и он требует от курсантов прекратить такое безобразие. И «такое безобразие» действительно прекратилось. Фиме ни разу не пришлось пускать в дело свою физическую мощь.

Но мне он сказал, что не всегда же будет рядом. Поэтому надо, чтобы я мог защитить себя сам. И так ответить сукам этим, чтобы сами зареклись и другим рассказали, что не стоит со мной связываться. И он меня научит драться. Уж это он умеет. И хотя я меньше и слабее его, но смогу справиться с тремя...

Мы начали на следующий же день. Шли в спортзал когда там не было занятий, сдвигали маты. И фронтовой разведчик с четырехлетним опытом войны учил меня драться. Учил настойчиво, заставляя много раз повторять приемы, все эти эти захваты, броски, нырки, удары руками, ногами, головой, использованием подручных предметов и еще много чего, что теперь я забыл. А тогда – старательно осваивал, хоть и больно порой было, из сил выбивался, п***о***том исходил. И наверняка бросил бы эти занятия, если бы не Фима. Я не мог сказать ему: «хватит», не посмел бы слабодушие проявить.

Эти уроки рукопашного боя продолжались почти полгода и завершились не потому, что я был готов дать отпор любому обидчику. По мнению Фимы, надо бы ему еще потренировать меня. Но – не судьба.

Письма Калинину

Я приступил к их сочинению вскоре же после того памятного разговора с Фимой, где-то в августе 45-го года. Сочинение, правда, было самой легкой задачей в этой затее. Самое же трудное – раздобыть бумагу и конверты,

что в те времена, да еще в таком захолустном городишке, было, как говаривал Остап Бендер: «мечтой идиота». Как понимаете, мне в этом деле ничего не светило. Фима же, по военному присловью, «проявил находчивость». В увольнении познакомился с дамой, работавшей в горкоме партии. Ну, еще бы, в те времена мужчины весьма востребованы были. Да еще такой как Фима-«шкаф». Судя по тому, что уже вскоре из увольнения принес два десятка листов бумаги и штук пять конвертов, дама была вполне заинтересована в общении с Фимой. Добычу он отдал в ротную каптерку, справедливо рассудив, что даже у него такой дефицит стащат из прикроватной тумбочки. А больше-то хранить негде было.

Я сочинил текст, сперва – черновик. Написал про штрафную роту, не упоминая, за что в нее попал сержант Ефим Галкин. А вот подвиг его в разведке боем расписал детально. Перечислил все награды и за что их Фима получил. И как мог убедительно попросил помочь в деле их возвращения. Потом переписал набело.

Адрес на конверте гласил: «Москва, Кремль, Председателю Верховного Совета СССР тов. Михаилу Ивановичу Калинину». В увольнении пошли мы с Фимой на городскую почту и сдали письмо в окошко. Квитанцию, впрочем, не получили. Не принято, видимо, было в те времена давать квитанцию. И стали ждать.

А ответа из Москвы не было. И я написал второе письмо, копию первого, в конце только добавил, что второе. Отправили, квитанцию нам опять не дали. И снова ответ не пришел. В октябре у меня появилось подозрение, что письмо, написанное от руки, хоть и очень я старался, в Кремле читать не стали. А может, и не дошло. От руки адрес написан. И предложил Фиме подключить его даму горкомовскую. Пусть она на машинке отпечатает.

Фима идею одобрил. Уговаривать свою даму, ему, как понимаете, долго не потребовалось. И в лучшем виде два таких послания отправились в Кремль. С

двухнедельным интервалом. Результат, однако, был нулевым. Также безуспешно завершились два похода сержанта Галкина к замполиту училища, который наотрез отказался заниматься его орденскими проблемами. Не до этого полковнику Рейбарту было.

А заботы полковника, как, впрочем, остального командования училища сосредоточились на вполне реальных перспективах его расформирования. Потому как потребность в нем полностью была исчерпана. Армия сокрашалась. И не только наше, но и все остальные, войной рожденные, училища решено былоликвидировать. И сразу же возникла проблема – куда девать личный состав, офицеров и курсантов?

Альтернатива была такая: если ты желаешь стать офицером и по своим данным – физическим и моральным, и по соображениям начальства подходишь для этой цели – то будешь откомандирован в другое училище, довоенного типа. В какое именно – узнаешь потом, перед отправкой.

А ежели лейтенантские погоны тебя не прельщают, то отправишься в регулярные войска, дослуживать действительную. Причем, когда это произойдет – неведомо. Как выяснилось потом, воинов 1925 года рождения уволили только в 1950-м. А вместе с 1926-м годом это и был основной контингент тогдашней армии. Старшие возрасты повыбиты на фронте, да и этим повоевать пришлось. А в мирное время пахали они в войсках по 4-5 лет. Незавидная судьба, прямо скажу. Однако в ноябре 1945–го кто мог знать об этом...

Но Фима офицерскую карьеру забраковал решительно. И для себя, и для меня. Главным доводом была уверенность, что мы окажемся в одной части и он для меня будет щитом. Кроме того, я только Фиме читал свои стихи и он считал, что я не имею права зарывать в землю свой дар. А если офицером стану – все канет, пропадет, армейская служба все задавит. Я уж и не помню сейчас всех доводов, но убедил меня Фима. И когда вызвал

командир роты и спросил, не хочу ли учиться дальше, я отказался. Ротный записал в свой список мой отказ.

Торжество справедливости

Этот знаменательный день наступил в декабре 1945-го. Как всегда, после завтрака, выстроились роты курсантские на плацу для развода по занятиям. В отличие, впрочем, от других таких же учебных разводов, приказано было оружия и снаряжения с собой не брать. И еще – стол вытащили, поставили перед штабом. Значит, решили мы, что-то необычное произойдет. И ожидания эти оправдались.

Вышедший на середину плаца, во внутрь курсантского карэ, начальник училища полковник Мешечкин трубным своим голосом объявил, что по приказу Генштаба училище расформировывается. Наиболее перспективные курсанты направляются в другие училища, работающие в режиме мирного времени. Список будет сейчас оглашен. Остальные курсанты и офицеры распределены в строевые части . Им сегодня же полагается сменить погоны на общевойсковые. И приготовиться к отправке, которая состоится в течение недели.

Полковника сменил начальник штаба, который стал выкликать убывающих в нормальные училища. Курсанты выходили и строились справа от него. Кончался уже список, оглашавшийся по алфавиту, когда прозвучала моя фамилия. От неожиданности я задержался, и начальник штаба повторил с напрягом. И я вышел из общего строя и встал в последнюю шеренгу взвода будущих офицеров. Было нас около 30-ти.

Потом выяснилось, что просто отобрали имевших среднее образование, безотносительно к их пожеланиям. Зачем опрашивали-то? Этот отбор стал первым практическим уроком армейской «справедливости». К сожалению, я из него никаких выводов не сделал и на те

же грабли наступал потом множество раз. До сих пор синяки не выцветают...

Вернусь, однако, в то декабрьское утро. Потому как вышеописанной селекцией не завершилось построение на плацу. Полковник Мешечкин подошел к столу, взял с него картонную папку, повернулся к строю и зачитал... О, Господи! Полковник чеканил во всю глотку, что отважный воин сержант Ефим Галкин за свои подвиги награжден был орденами и медалями (далее шло перечисление) и что его награды прибыли в училище из Москвы. «Сержант Галкин, выйти из строя!», – скомандовал полковник.

И Фима, рубя строевым, дошел до середины плаца и замер. И подошел к нему полковник Мешечкин, протянул картонную коробку с наградами, и пожал руку его мощную. А потом поднялся на цыпочки и поцеловал. А Фима с каменным лицом рявкнул «Служу Советскому Союзу!» повернулся кругом и вернулся в строй.

И вдруг неожиданно и непонятно как родилось и прокатилось по курсантским ротам мощное «Ура!». Потом, как и всегда на разводе, все пять рот промаршировали мимо командования училища. Только о нас, которых отобрали для дальнейшей учебы, позабыли. И мы остались стоять рядом с командованием, как бы тоже принимая последний этот парад. Так и торчали мы на плацу, пока кто-то из начальства не скомандовал: «Разойдись».

Я шел в казарму как пришибленный. Помню до сих пор, что никак не мог осмыслить случившееся. Уж больно неожиданно все произошло. И что теперь будет? Куда направят ? Как я буду там без Фимы, который стеной стоял, ограждая меня от тягот и обид?

А в казарме он ждал меня тоже смурной. Видимо, предстоявшая разлука перевесила даже радость возвращения ему наград. Я понял потом, что был я для Фимы вроде сына, особенно ценного после потери всех

родных. Со мной он стал не так одинок на свете. Думаю, это были отцовские чувства, хотя старше меня он был всего на четыре года. Но каких четыре года!

Он обнял меня. Я прижался к его могучей груди и еще сильней почувствовал грядущее одиночество.

А потом мы стали смотреть его награды. Всего их было десять. Фима снял гимнастерку, и я стал крепить к ней ордена и медали. Справа – орден Красной звезды, слева – еще три ордена и две медали «За отвагу». А под ними – оставшиеся четыре медали. Все как положено. Я очень старался, чтоб ровно, как по линейке. Так и получилось. Увидел, когда Фима гимнастерку надел и выровнялся во весь свой рост богатырский. И вроде как другим стал. Таким, как быть герою положено. А он и был Героем, да, вот именно – Героем с большой буквы.

Я не сводил с него глаз. А как оторвал взор – увидел: сзади в проходе почти вся рота столпилась. Смотрели молча. Потом лишь говор одобрительный прокатился. Подошел и ротный, капитан Сыроватский. Руку Фиме пожал, поздравил. А мне сказал:

– Ты собирайся, завтра утром – на вокзал . Пассажирским в училище отправитесь. – И добавил: – Галкин, можешь проводить земляка. Да не укати с ним, – засмеялся и увольнительную протянул.

После отбоя вышли мы из казармы и несколько часов говорили, говорили... В основном – как дальше будет. Фима настаивал, чтобы я при первой же возможности из училища ушел. И конечно, обсуждали, как нам не потеряться, наладить связь. В какое училище я отправляюсь, нам не говорили, секрет, видите ли. И куда попадет Фима – тоже неизвестно. Единственная ниточка – адрес матери моей я оставил.

Утром после завтрака повел нас лейтенант сопровождающий на вокзал. Мне он разрешил идти вне строя с Фимой. Так мы и шли вдвоем по тротуару позади колонны.

Уже неподалеку от вокзала достал Фима бинокль офицерский, цейсовкий. Символика фашистская на нем сточена была. Отличный бинокль, восьмикратный. И протянул мне. Сказал: «На войне я в него много чего увидел. Теперь ты смотри. Будет тебе память . Береги».

И опять ком колючий в горле возник и долго еще, после того как поезд тронулся, торчал там...

Никогда в жизни потом не пришлось мне повидаться с Фимой. Весточку от него получить какую-нибудь. Я не знал, куда его отправили, он – где я. Мама моя вернулась в Молдавию, и если Фима ей писал, то по адресу, где ее уже не было.

Но помнил я Фиму всегда. Но вот написать о нем удосужился впервые. И завета его не выполнил. Не ушел из армии. Наоборот, 35 лет прослужил в ней. Потому, наверное, иль еще отчего-то, но в поэты не вышел. Прав, получается, Фима был, предрекая. А в училище записался в секцию самбо и к выпуску был перворазрядником. Фимина школа...

Много лет прошло с расставания нашего. Людей через судьбу мою прошло немеряно. Прошло – и кануло. В памяти остались самые значительные. Фима – в том числе. Но... Обязательно появлялся он тогда, когда кто-то при мне пытался унизить евреев. Вставал рядом, возвышаясь. И говорил: **«**Шлуг, ингалэ, шлуг зей, шлуг фор дем тотэ, шлуг фор ди бобэ; кнак, кнак, кнак ! **»** (**«**Бей, мальчик; бей их, бей за отца, бей за бабушку; удар, удар, удар!.. **»**) И я бил. Бил, как научил Фима.

Написал я потом сонет «О канувшем». В нем есть такой катрен:

...И когда унижали мой горький, мой милый,
Мой народ – надо мною довлели века...
Но один против трех – я не взвешивал силы,
Уповая на мудрость своего кулака!..

Но бинокль Фимы я сохранил. Хотя в состав снаряжения строевого офицера входили эти два предмета – бинокль и пистолет . Переведут в другую часть – сдаешь, а там – получаешь другой пистолет и другой бинокль. Вроде и не было надобности в подарке Фимы.

Появилась она после увольнения в запас. Не стал я покупать театральный или еще какой, пользовался «цейсом». И всегда Фиму вспоминал, как бинокль достану.

Когда эмигрировать мы собрались, множество добра раздали или выкинули. Но бинокль Фимы в Америку я привез. И здесь в театр беру. И в турпоездку. И просто так вынимаю иногда. И тогда земляк мой Фима, Фима-«шкаф» – со мной. Смотрит на меня из окуляров «цейса».

Вместо послесловия

Прочитали мой очерк в редакции «Времени и места» и неожиданно предложили: «А почему бы не попытаться в канун юбилейной даты – 75-летия начала войны – найти ветерана Ефима Галкина с помощью российского телевидения? На Первом канале есть прекрасная программа «Жди меня», соединяющая давно потерявших связь друг с другом родственников, друзей... Попробуйте...»

И впрямь, замечательная идея! И почему я сам раньше об этом не подумал... Корю себя за это, много времени упустил. Моего старшего друга Фимы, возможно, уже нет в живых, но ведь у него наверняка остались дети, родственники. Может, кому-то он рассказывал обо мне?

Я начал поиск, написал на телевидение письмо. Посмотрим, что из этого выйдет. Но если выйдет и получу какие-либо сведения о послевоенной жизни Фимы Галкина, обязательно расскажу об этом читателям журнала.

Марк Штейнберг *– известный военный историк и обозреватель, полковник в отставке. Родился в 1927 году. С 1945-го – в Советской Армии, специальность: минер-подрывник. С 1984 г. в запасе. С этого же времени – журналист,штатный сотрудник в журналах и газетах Ташкента. С 1991 года – в США, гражданин США. Военный обозреватель в русскоязычных СМИ США. Опубликовал около 1000 материалов. Регулярно публикуется также в русскоязычных СМИ Австралии, Канады, Израиля и военных газетах России. Является военным консультантом Миллеровского института Стэнфордского университета. В Нью-Йорке и в Москве вышло в общей сложности восемь изданий книги М. Штейнберга "Евреи в войнах тысячелетий" – очерки военной истории еврейского народа за 3500 лет. Два издания выдержала новая книга военного историка "Еврейский щит СССР".*

МИХАИЛ БРИФ

ГОРОД

1

Этот город ветров,
злопыхатель, слагатель побасенок,
был со мною суров,
он вопил, что не сын я, а пасынок.

Много лет он губил
наши души, ярился, упорствовал.
Он меня не любил,
но порою бесстыдно притворствовал.

Где коварству предел?
Горько пасынком быть неприкаянным.
Все же я не хотел
восторгаться мешком этим каменным.

Только он не внимал
аргументам, на ссору отважился,
клеветой донимал,
насмехался, кривлялся, куражился.

И тогда я решил:
не судьба, пропади оно пропадом!
Без взаимности жил,
пренебрег общепринятым опытом.

Чем же я не такой?
Тем, что песенки пел слишком грустные?
Помашу я рукой,
покидая края эти гнусные.

Город, хватит причуд,
сыт по горло твоею опалою!..
Не затронут ничуть
оправданья твои запоздалые.

2

Стылый сумрачный город
жаждет страх мне внушить,
прозябать в нем возможно,
невозможно в нем жить,
наши кровные узы
понимаю с трудом
если он мне отчизна,
то сиротский мой дом.
Никогда я здесь не был
ни удачлив, ни юн,
здесь февраль високосен,
високосен июнь,
свищет век високосный,
всех пугая всерьез,
беспощадный, жестокий,
непогожий до слез.

3

Вспоминается часто
тот безрадостный год,
что принес нам с тобою
крайне много невзгод,
он кладбищенский сторож,
с ним в ладу воронье,
воронью на поживу
отдал сердце мое.
Не посмею забыть я
тот безрадостный век,
его след засыпает
черный слякотный снег,

и прощается с веком,
сжатый веком в тиски,
край урона, ущерба
и вселенской тоски.

4

Город пьяниц и калек,
жалок днем и жуток ночью,
здесь паноптикум весь век
наблюдаешь ты воочью.

Пристань - кладбище - вокзал
Этот край не для блаженства,
он в избытке навязал
мне изгойство, отщепенство.

Он сиротством наградил
на сто лет вперед, с лихвою,
норов свой не укротил,
все собачился со мною.

Вспыхнет память, как ожог,
хоть повсюду мрак и холод.
Этот город мне чужой,
он никто мне, этот город.

Почему ж тогда вдали,
сколь по свету ни носило,
на другом конце земли
я забыть тот край не в силах?

ИЗ «ПУШКИНСКОГО ЦИКЛА»

Пылкий баловень удачи,
правнук абиссинский,
стихотворствует, чудачит,
не перебесился.

Он в друзьях души не чает,
бражник и повеса.
Очень скоро повстречает
бравого Дантеса.

***

Играл на дудочке из вереска,
похожим был на скомороха.
Не озверел и не изверился,
как ни увечила эпоха.
Опять рассвет бледнел, истаивал.
Я разум слышал, да не слушал.
Случайным женщинам раздаривал
свою восторженную душу.

***

От свар и дрязг уйду,
сбегу из плена.
В Евангельском Саду
тружусь посменно.

Мне сладостен побег.
Сверну налево.
Сгребают дружно снег
Адам и Ева.

Пока ветрище злой
кружит, лютует,
лопатой и метлой
Адам шурует.

Спрошу его: «Адам,
ведь нет же смерти?»
А ей скажу: «Мадам,
зиме не верьте!

Пускай вовсю метет
пурга шальная,
весна вот-вот придет,
я твердо знаю».

Еще скажу: «Мадам,
в часы ненастья
последнее отдам
за промельк счастья.

Но где его искать,
ответит кто же?
Поэтому тоска
мне сердце гложет…

Повсюду мрак сейчас,
миры крушатся.
Не мог бы я у вас,
друзья, остаться?»

ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР

Собака с мордою печальной
меня впускает на порог,
ее хозяйки друг случайный,
я заглянул на огонек.

Хозяйка ужином покормит
и чаем сладким напоит,
но только бродит между комнат
собака с мордою навзрыд.

Ночник зажжется над кроватью,
на улице фонарь зажгут.
Прощаюсь я. «Не забывайте, –
хозяйка скажет, – здесь вас ждут...»

Целую руку на прощанье,
ловлю сочувствие в глазах…
Собака с мордою печальной
со мной прощается в дверях.

***

Муж твой пригож и прекрасно одет,
жизни текут по привычному руслу,
только любви, к сожалению, нет,
а без любви все никчемно и тускло.
Преображайся во имя любви,
разом отринь все мольбы и угрозы,
рви проржавелые узы свои…
Долгие проводы – лишние слезы.

ИЗ ЦИКЛА «СМУТА»

1

Ложка меда, ложка соли,
кисло-сладкое вино.
Что ж я плачу? А не все ли
вам равно?
Были небыли и были
да любовь, светлым-светла.
Были-небыли вдруг сплыли,
а любовь моя дотла
сожжена. И к этой доле
привыкать мне суждено…
Что ж я плачу? А не все ли
вам равно?

2

Безумствую, и радуюсь, и плачу,
бреду сквозь мрак.
Он лег «орлом» в расчете на удачу,
шальной пятак.

Он лег «орлом». Да только нет удачи.
Бреду в бреду.
Весь век смеюсь, безумствую и плачу –
удачу жду.

3

Зимние звезды загадочны, скрытны.
Скользко, ребята, сплошной гололед.
Девочка в парке играет на скрипке –
день напролет и всю жизнь напролет.
Сердце к чугунной ограде примерзло.
«Хватит, – прошу, – лучше чаю попьем,
сыро, угрюмо, уныло, промозгло,
слишком ненастно на свете твоем».

4

Э.Т.

Однажды любовь прищучит,
спросит: «Не ждал подарка?»
Кому-то любовь – блаженство,
кому-то любовь – удавка.

Один будет славить Небо,
другой будет харкать кровью,
но оба они не смогут
никак совладать с любовью.

Об этом я и талдычу,
воздушных замков не строю.
Любовь беспощадней смерти
бывает, мой друг, порою.

5

Таю незаметной свечкою,
угасаю без надежд.

Целый день сижу над речкою.
Золотая рыбка где ж?
Рыбку склизкую не выудил
и наяд не повидал.
Ничего, браток, не выгадал,
только крепко прогадал.

6

Там, в небесном чертоге, чернеет дыра,
призывает к себе от пьянящих акаций.
Кто сказал, что душа – это кладезь добра?
То – вранье. Одиночная камера, карцер,
бесконечная жуть, беспросветность… Душа –
это пыточный стенд. С грешным телом поссорясь,
к злополучной дыре умотала, ушла.
«Возвращайся! – кричу ей. – Имей же ты совесть!»

7

Не печалюсь, не тоскую,
все разгадано давно.
Жизнь проиграна вчистую –
это больно и смешно.
От каменьев не укрылся,
детям я дурной пример.
Я пошел бы застрелился –
одолжите револьвер.

***

Так любил я тебя, как никто не любил,
все равно обижал, все равно не щадил,
больно в том признаваться, но, душу губя,
я нередко других принимал за тебя.

Нынче я в хирургии: возня, колготня,
Жизнь и Смерть меж собой не поделят меня,

и в счастливую даль, где нет страха и слез,
унесет меня резво всесильный наркоз.

Так любил я тебя, как никто не любил,
но губил я тебя, как никто не губил.
Я кричу с перекошенным, жалким лицом:
«О, каким недоумком я был и слепцом!..»

Если ж выживу я, если все ж не помру,
телефонный твой номер стремглав наберу
и тебе прохриплю, распугав миражи:
приходи! приезжай! позвони! напиши!

Михаил Бриф *– поэт, прозаик, эссеист. Неоднократно публиковался в периодических изданиях и альманахах бывшего СССР и США («Дружба Народов», «Смена», «Литературная Грузия», «Студенческий Меридиан», «Вестник», «Новый Журнал», «Побережье», «Встречи», «Новое Русское Слово» и др.)*
Лауреат ряда международных поэтических конкурсов и турниров.
Автор поэтических книг «Високосный Век» (1991), «Галера» (2003), «Единственное Небо» (2004), «Братья Милосердия» (2006), «Предзимье» (2007).
С 1994 года живёт в Нью-Йорке (США).

ФЕЛИКС РЕЙНШТЕЙН

ИЗЛЕЧИТЬСЯ ОТ ЗЛА

НАША БЕСПЕЧНОСТЬ

Нам всё равно кому, на чьём наречьи
Поведать то, что нам глаголет Бог.
Все наши речи искренне беспечны,
Хоть век наш необузданно жесток.

Мы чувству правды, правде чувства вопреки,
Купаясь в призрачном мирке своей тоски,
Не замечаем, что мир рушится вокруг
И безысходностью очерчен далей круг.

Манящий безмятежностью рассвет
И наших чувств привычная беспечность –
Как за колючей проволокой нежность
И на неё несостоявшийся ответ.

Бдят ангелы, бдит ангел херувимский.
Бог мантру бытия диктует им.
Внимая ей обдуманно и зримо,
Об этом всем повсюду возвестим.

Покорности не может быть в душе
Всему, с чем мы смириться. не согласны.
И даже если всем вокруг всё ясно,
Отвергнем повседневности клише.

НАДОЛГО ЛЬ?

Людей притворные тревоги
И холод душ. От них я в шоке.

А их жестокая зима
Нещадно леденит сердца, умы, дома.

Беспечность солнечного света,
Беспечность юных светлых дней.
Грустна, тревожна жизнь поэта
Среди коварства и теней.

Простыли сонные дороги,
И трепет душ – как трепет крыл.
Стою пред вечности порогом.
Надолго ль мне осталось сил?

СВЕТ И ТЬМА

1

Сквозь толщу тьмы, внимая фугам неба,
Слезятся звёзды светом ломкой тишины.
И в этой тишине, в холодном отчужденьи,
Сквозь пелену наплывных заблуждений
Летит в туманную метель
Высокопарностью разгорячённый слог,
Мысль обволакивая мраком, чадом, холодом.
Среди рассветов розовых передо мной безбрежность
Тьмы злонадменного выпячиванья «Я»,
Из-за которого людское одичанье
Как междометий ряд — некстати, вдруг, не к слову.
Ему сродни холодное молчанье,
Порой стремительно пронзающее даль,
Любви израненной промозглая печаль.

2

За тьмой наветов, злобы и коварства
Печальный берег хрупкого рассвета,
Свет отзвука нежданного «Прости».
Мы тщетно силимся с тобой понять друг друга в нишах
Природных мет, предчувствий и тревог
И превозмочь переполох в смятенных наших душах
С любовью их отважной, бескорыстной,
С желанием всегда в согласьи быть

И одолеть набеги мрака будней
В истерзанном и неспокойном мире,
Бездумно ищущем жестокосердного кумира,
Кто тьмой иль ярким светом ослепляет
Людей, от них скрывая так
Их муки, трепет, таинства, тревоги.

3

Ветвями порождённые лучи дрожат,
От света всё вокруг — в истоме пробужденья.
Не знаю: всплеск иль образ, или отклик света
Воспринимаю пылкою душой...
Лишь открывается сокрытое вокруг, —
На части крошатся и время, и пространство...
И бесконечны лабиринты истин,
Где мрак — дракон тысячеглавый ненасытный
Их поглощает алчно и коварно...
Смириться с этим?.. Не желаю! Зреет дума:
«Убей дракона: он погубит мысль и всё живое
И, торжествующий, над миром воцарится»...
А если мрак исчезнет, воссияет свет?..
И свет, и мрак везде неразделимы...

НЕ ОТВРАТИТЬ

В былое не вернуться изначально.
Влечёт оно призывно и печально
Своей невосполнимостью. Взамен
Глотаю воздух новых перемен.

Высоких дум не отвратить мгновнья,
Высокий дух вовек неугасим.
Мне тягостны к безделью устремленья,
Я временем утраченным томим.

Канва покоя, непокоя блёкла.
Вздыхают тени, что я вижу в окнах,

На переплётах робкие дрожат

Как дальний свет из хрупкой тьмы, а с ними
О прошлом мыслей непокорных ряд
И неизбежных, и неотразимых.

Я ОТКРЫТ НАДЕЖДЕ

Жить бы тихо и спокойно,
Не соваться никуда,
Не грустить вблизи вагонов,
Провожая поезда.

От прощания до встречи –
Трудный и не краткий путь.
Но про наш последний вечер,
Дорогая, не забудь.

Отчего уму неймётся
Моему среди других?
Мыслю о делах былых,
Учащённо сердце бьётся.

Вдаль уехал я, ценя
Честь свою, любовь храня,
И поныне так, как прежде,
Искренне открыт надежде.

НЕ СПЕШУ

Разбегаются дни как прохожих лукавые взгляды,
И всё ближе маячит неведомой вечности мгла.
Догорю ли звездой в бледно-розовой шири заката
Или сгину, как тля, под напором вселенского зла?

Не спешу отказаться от всплеска любовных мгновений,
Распластаться амёбой безмозглой в навета тисках,

Позабыть и про плесень разрухи глухих поселений,
И про их погорельцев с тоскою в глазах и в мольбах.

Не спешу затеряться в раскатах рассветного эха
Среди звонов и гулов борений времён перемен,
Уподобиться кому продрогшего талого снега
На горячих ладонях суровых природных измен.

Не спешу воплотиться в камней равнодушное племя,
Позабыть о желании быть, а не слыть средь людей;
Скособочась, понуро предстать пред судьбой на коленях,
Расплескав перед ней русла добрых забот и затей.

И волнуют меня, словно запах прогорклой полыни,
Муз, природы, мечты и любви потаённая мощь,
И набеги разлук, и встреч новых и ночи, и стыни,
Зарождение дня, его всплеск, угасания дрожь.

Загрустив по снегам и по солнечным далям,
По лесам и полям, по дыханью больших городов,
Прикоснуться хочу ко всему робким взором усталым,
Мысли людям даря – как букеты душистых цветов.

Поджидает меня неизведанность мира иного,
Из него вечной песнью пробьюсь во вселенскую глубь,
И цветами, травинками стану простора земного,
Их волной ароматов коснусь твоих ласковых губ.

* * *

Хоть нынче ссорам и войне раздолье,
Предвижу время золотое,
Когда земляне, зло к болезни приравняв,
Излечатся от зла, их добрым станет нрав,

Для каждого земля оранжереей станет .
Любви, добра. И с равнодушием прощанье

На веки вечные свершится в тот же час,
Услышат сытые детей голодных глас,
Поймут, что жизнь – не сказка, не мираж,
Истоки всех благих свершений – в нас!

Феликс Рейнштейн *родился в Ленинграде. Кандидат технических наук. Автор 9-ти книг стихов и прозы, публикаций в различных журналах, газетах, альманахах, сборниках, а также во многих международных антологиях, – в том числе в периодических «The Best Poems and Poets.... », и «The Best Poets ...», в антологии PEN-клуба «The Anthology of PEN» (2010), кроме того, в шести CD-альбомах «The Sound of Poetry» Международной Библиотеки Поэзии и в CD-альбоме издательства Eber & Wein.*
Награждён Почётными Грамотами Клуба Поэтов Нью-Йорка (2004) и Международной Библиотеки Поэзии (2006, 2007), Международного Пушкинского конкурса поэзии (1997), медальоном и кубком Международной Ассоциации Поэтов (2003), медальоном и денежной премией издательства Eber & Wein (2010) - за второе место в международном конкурсе поэтов.
Член Клуба русских писателей и Клуба поэтов Нью-Йорка. Живёт в Нью-Йорке .

АЛИНА РЫБАК

«ТРИ “Ц” и ВЕРЛИБРАРИЙ»

Новый сборник поэзии Геннадия Кацова

Вышел в свет новый поэтический сборник нью-йоркского поэта, писателя и журналиста Геннадия Кацова «Три “Ц” и ВЕРЛИБРАРИЙ».

Книга выпущена нью-йоркским издательством «КРиК».

В сборнике представлены стихотворения, созданные автором с октября 2014-го по октябрь 2015 года. Таким образом, это еще и некий травелог, написанный по трем основным темам, связанным с экзистенциальным проживанием "субъекта" среди нескольких избранных авторским взглядом "объектов" – природы и искусства. Что характеризует автора этого сборника, как романтика и исследователя.

Свою новую книгу стихов Геннадий Кацов выстроил по принципу текстовых поэтических иллюстраций к трем известным цитатам (три Ц) из Уильяма Шекспира, Гертруды Стайн, Иосифа Бродского. Как он сам пишет в предисловии к сборнику: «Одно из самых запомнившихся мне высказываний у Х.Л.Борхеса – последняя фраза в его «Сфере Паскаля»: «Быть может, всемирная история — это история различной интонации при произнесении нескольких метафор.»

История этой книги – это история различной интонации при произнесении трёх общеизвестных цитат. Собственно, они же и являются тремя заглавиями к главами этого стихотворного сборника, с четвёртой – «Верлибрарий», пристёгнутой к ним без особого соображения, а скорее по техническим причинам (вероятно, по вездесущему «принципу дополнительности»). Поскольку в предыдущих трёх все

стихотворения написаны конвенциональным русским стихом, классическом в самом что ни на есть силлаботоническом смысле.

Первая часть этой книги озаглавлена цитатой из шекспировского «Макбета»: «Завтра, и завтра, и завтра...» По частоте цитирования, этот монолог у Шекспира, пожалуй, на втором месте после популярного монолога Гамлета. Речь в нём – об отчаянии живого перед исчезновением навсегда, о тщете наших усилий в этом мире, о бесполезности самой жизни: «...it is a tale / Told by an idiot, full of sound and fury, / Signifying nothing («... жизнь - словно текст, бессмысленный по сути, поведанный актёром-простаком, наполнившим его и шумом, и страстями» - мой перевод). Корпус стихотворений в этой части сборника – в той же интонации. На ту же, общую для всех пишущих и читающих, тему.

Цитата ко второй части - «Роза есть роза есть роза есть роза», из «Святая Эмили» Гертруды Стайн. Если что-то из Гертруды Стайн и цитируют чаще, то, пожалуй, придуманный ею же термин «потерянное поколение». Как к розе ни принюхивайся, как долго ею ни любуйся, она розой останется и ничем другим не станет. Тексты в этой части книги – в различных интонациях и вариантах связаны с темой природы, зависимой и от роза ветров, в частности.

Иосиф Бродский, накоротке знакомый с Гертрудой Стайн, в своём блестящем пародийном поэтическом опусе «Два часа в резервуаре» пишет, походя: «Искусство есть искусство есть искусство...» Этот парафраз к знаменитой «роза есть роза» - в той же степени говорил бы о рукотворном, в какой у Стайн о нерукотворном, не играй здесь существенную роль фактура русского языка и его синтаксис. Искусство, которое есть искусство поедать самое себя – своего рода каннибализм, характерный для творчества любого рода, поскольку открытия в этой области существуют по принципу отталкивания,

отрицания, поедания достижений прошлого. Здесь масса различных интонаций, и третья часть этой книги озаглавлена цитатой из Иосифа Бродского».

В еще одной части книги собраны интонационные тексты, то есть то, что сегодня по поводу и без повода называют «верлибром». Отсюда и «верлибрарий», что можно представить как колумбарий, гербарий, то есть некую коллекцию потустороннего, в нашем случае – по другую сторону от классического, рифмованного русского стиха.

Сборник Геннадия Кацова "Три Ц и Верлибрарий" можно приобрести в США на сайте Торгового дома "Санкт-Петербург" www.ruskniga.com, или заказав на Amazon www.amazon.com (Gennady Katsov, Three C and Verlibrary).

Геннадий Кацов *– поэт, писатель и журналист, был хорошо известен в литературных кругах Москвы 1980-х. Один из создателей легендарного московского клуба «Поэзия» и участник литературной группы «Эпсилон-Салон». Вернулся к поэтической деятельности после 18-летнего перерыва в 2011 году.*

Автор восьми книг, включая экфрасический поэтический проект «Словосфера», в который вошли 180 поэтических текстов, инспирированных шедеврами мирового изобразительного искусства, от Треченто до наших дней. Его поэтические сборники «Меж потолком и полом» (2013) и «365 дней вокруг Солнца» (2014) вошли в лонг-листы «Русской Премии» по итогам 2013 года и 2014 гг. Лауреат литературной премии журнала «Дети Ра» по итогам 2014 г. Является одним из создателей и участников геопоэтического проекта НАШКРЫМ.

Постоянно публикуется в периодических литературных изданиях в России, Европе и США. Его стихи переведены на английский язык.

Из нового сборника Геннадия Кацова

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Метель по понедельникам, затем
Мороз и солнце ровно до субботы, –
И так весь месяц, не теряя темп:
Погода, в лучшем смысле, есть работа.

Рисунок белых лилий на стекле
И синих лилий в небесах хрустальных
Уже совпали, ибо им в тепле
Не сохранить ни абриса, ни тайны.

И так же вся неделя января
Последняя, под знаком Водолея,
Продлится в феврале, и ты не зря
Достал «чернил» и стал на час теплее.

И стал читать снежинки по одной,
Как будто в них посланье от любимой,
Как будто в них, как раннею весной,
Растают письма почты голубиной.

РОЖДЕНИЕ
Настанет время и опять,
Уже не помня раз в который,
Ты всё в деталях повторять
Начнёшь, зверея от повтора.

Свернувшись, ты ещё лежишь
В родном тепле уютным комом,
Представив, что однажды жизнь
Изменишь сам с ноги толчковой.

Всё зная наперёд: раба
Земной удел и зону риска,

Куда швырнёт тебя судьба
Из колыбели материнской.

И ты, от ужаса дрожа,
Себя испытывая болью,
Как бы вдоль лезвия ножа
Туда уйдёшь по чьей-то воле.

Свет впереди невыносим,
И ты, из теплоты кромешной,
Выталкиваешь что есть сил
Себя в кровавую промежность.

И ты, как мыслящий тростник,
(как мыслили Паскаль и Тютчев)
Зачем-то в этот мир проник,
Но зная: здесь не будет лучше.

И первый вдох – с таким трудом,
Как будто впредь идти с повинной.
И первый крик – всегда о том,
Чтобы не рвали пуповину.

R.I.P.
Матери Бориса Немцова

– Обычно в феврале, в последних числах, –
Она подумала, – на сердце тяжесть…
Но ничего плохого не случится, –
Она подумала, – и чашка та же,

В ней чай, хотя остыл, а рядом ложка…
Уж полночь близится, пора ложиться,
Вот телевизор досмотреть немножко,
Ведь ничего плохого не случится, –

Она подумала. – Лютей морозы
В последних числах, на душе тревожно,
К тому же, постоянные угрозы,
А он, мой мальчик… Это невозможно, –

Она подумала – Как в сериалах
Ужасен выстрел и правдоподобен!
И проступают в тонкой струйке алой
Сейчас не титры – буквы на надгробьи.

И вдруг подумала: – Не стать гарантом
От произвола ни одной из книжек…
Она подумала: – Пробьют куранты
И этот бой она услышит в Нижнем.

Ударов будет, как всегда, двенадцать
По счёту, как апостолов; и следом
Февральский день уже готов начаться, –
Она сейчас подумала, – последний.

АНДРЕЙ ОСТАЛЬСКИЙ

СПАСИТЕЛЬ КАПИТАЛИЗМА

Джон Мейнард Кейнс и его Крест

«Идеи экономистов и политических философов – и тогда, когда они оказываются правыми и тогда, когда они неправы – более могущественны, чем это принято считать. В конечном итоге мало что еще может сравниться с ними по той власти, которую они имеют над миром».

Дж.М.Кейнс «Общая теория занятости, процента и денег».

70 лет назад, 21 апреля 1946 года, скончался великий экономист 20-го века Джон Мейнард Кейнс. Имя его, однако, известно далеко не всем русскоязычным читателям. Эта публикация дает представление о совершенном этим человеком.

ОТВЕРГНУТЫЙ МЕМОРАНДУМ

Темной парижской ночью не спится нескладному, высоченному – под два метра – моложавому англичанину в номере шикарной гостиницы «Мажестик». Он тяжело ворочается, вздыхает, пьет воду… Потом вскакивает, зажигает свет, садится к столу, исправляет что-то в наскоро написанном тексте. Потом зачеркивает написанное. Даже что-то вроде негромкого стона срывается с его пухлых губ.

Это так не похоже на Мейнарда Кейнса, знаменитого на весь Уайтхолл своим уникальным умением формулировать быстро, точно и емко, писать сразу набело, создавать короткие, ясные меморандумы – предмет зависти британского чиновничьего класса. Но на этот раз

– случай особый. Поскольку Кейнс собрался, ни много ни мало, а спасти европейскую цивилизацию, предотвратить вселенскую катастрофу. А это, как ему кажется, зависит от убедительности документа, который он сочиняет для британского премьер-министра Ллойд Джорджа. От готовности сильных мира сего согласиться с предлагаемым финансовым проектом, с дерзким решением острейшей финансовой проблемы.

Он знает, что предлагаемое может показаться слишком оригинальным, фантастическим, даже заумным и главное – нереалистичным, невозможным. Что обращается он к людям не слишком глубоко разбирающимся в экономике и смутно понимающим язык цифр, привыкшим мыслить стереотипами, прецедентами. Не способных к гибкому мышлению, не умеющим считать на несколько ходов вперед. Вот отсюда и муки: как же им объяснить, какие слова найти, чтобы они поняли глубинный, высокий смысл этого красивого решения?

Он не страдает от излишней скромности, о нет! Бесчисленные премии, дипломы и награды, сопровождавшие его и в школе – в Итоне, а затем и в университете – в Кембридже, с детства приучили его к положению вундеркинда, юного гения, вызывающего всеобщее восхищение. Ему не было и тридцати, когда главный интеллектуал Британии, лауреат Нобелевской премии Бертран Рассел признал свое поражение в споре с ним. Когда началась Первая мировая, ему тут же предложили высокий пост в Казначействе, доверили важнейшее направление в руководстве военной экономикой. И очень вскоре слава о его остром, как бритва, уме пошла гулять по Уайтхоллу. Он привык, что великие мира сего прислушиваются к его мнению, даже если в итоге отказываются с ним согласиться. Даже если некоторые из них не могут скрыть своего раздражения: это что еще такое, неужели нас будет учить этот

несносный мальчишка? Гением себя мнит, понимаете ли…

Но и самоуверенному Кейнсу не дано знать, каких высот ему предстоит достигнуть. Какое место он займет в пантеоне мыслителей XX века. Не догадывается пока, что ему предстоит совершить переворот в экономической мысли, что его именем назовут «кейнсианскую революцию», о которой будут вестись яростные споры и сто лет спустя.

И еще он даже представить себе не может, что скоро один маленький человек, и до плеча ему не достающий, будет безмерно много для него значить. И уж ни за что бы он не поверил, если бы ему сказали, что таким человеком окажется женщина, да еще русская! Он же вообще женщин (кроме своей неподражаемой матери Флоренс да пары богемных дам из кружка Блумсбери) считает поверхностными и скучными существами. На которых глупо терять время. Если бы кто-то предрек ему такой поворот в его биографии, он не только ни за что не поверил, а в голос бы расхохотался: какой абсурд! Никакие женщины его ни в малейшей степени не интересуют. И Россия тоже. Вот разве что в качестве пугала она может пригодиться. Отрицательного примера, от которого надо спасать Европу.

Ничего еще толком не знает про себя Мейнард Кейнс, которого я пытаюсь вообразить себе той ночью среди роскошных густых ковров, тонких гардин и велюровых ворсистых диванов гостиницы «Мажестик», в которой разместились члены британской делегации на Версальской конференции 1919 года. (Авеню Клебер, дом 19. Теперь там роскошный пятизвездный отель «Peninsula»).

Конференции той предстояло так много определить в человеческой истории.

В Париже происходит нечто совершенно беспрецедентное. На несколько месяцев здесь фактически поселились четыре самых могущественных человека планеты. Большая четверка – лидеры США, Великобритании, Франции, и Италии заседала здесь 145 раз, и их логично называли мировым правительством. Такого не было никогда в истории человечества – ни до, ни после 1919 года.

Но Кейнс обеспокоен тем, что это «мировое правительство» может принять совершенно неверное, трагически ошибочное решение, чреватое огромными бедами для всего мира. Кейнс корпит над меморандумом, как никогда тщательно подбирая слова, потому что уверен: еще не поздно предотвратить роковую ошибку, которую собираются совершить державы-победители.

«Вот предложение, открывающее новые перспективы и показывающее народам Европы путь, который вновь может обеспечить людей едой, работой, упорядочить их существование. Это могучее оружие, способное отвести угрозу большевизма, защитить тот образ жизни, который мы считаем лучшей основой для будущего совершенствования и материального благополучия», пишет Кейнс. (*Здесь и далее перевод мой – **А.О***.).

Как отреагирует на его предложение Ллойд Джордж? Поддержит ли он его? И сможет ли в таком случае убедить других? Эти мысли не дают Кейнсу заснуть.

Ллойд Джордж вспоминал потом, что на заседаниях Большой четверки он чувствовал себя находящимся «между Иисусом Христом и Наполеоном». Имея в виду идеализм американского президента Вудро Вильсона, с его 14 утопическими пунктами мирной цивилизованной жизни народов, и воинственным радикализмом и

неприкрытым национализмом французского премьер-министра Жоржа Клемансо.

Глава британского правительства, как считалось, терпеть не мог Кейнса. Собственноручно вычеркивал его из наградных списков. Нелестно отзывался о нем в разговорах и переписке. Раздражение было взаимным: Мейнард называл премьера за глаза «козлом» («goat»), да и в глаза резко критиковал его взгляды на финансовые вопросы, как-то прямо в лицо объявил мнение главы правительства «чепухой» («rubbish»). Не так уж много можно найти в мире политических лидеров, способных снести такое (представьте себе на минуту реакцию Сталина на подобную оскорбительную критику). Но начальники Кейнса в казначействе стояли за свое «дарование» горой, не давали его уволить.

Согласившись, скрепя сердце, на включение 35-летнего экономиста в британскую делегацию на Парижской мирной конференции, Ллойд Джордж не допустил его поначалу до самых главных переговоров – о накладываемых на Германию и ее союзников репарациях. Но потом вдруг лично вмешался в спор Кейнса с французами, придя ему на помощь. Причем как!

Это был жесткий спор по другой, чрезвычайно острой теме: возможности срочной поставки пшеницы в разгромленную, голодающую Германию. Франция блокировала эти поставки, добиваясь дальнейшего наказания немцев. Британцы же считали, что массовый голод может привести к коммунистической, просоветской революции в нищей Германии. Французская сторона как будто вовсе не возражала бы, если бы несколько сотен тысяч, а то и миллионов немцев, включая женщин и детей, попросту умерли бы с голоду. Позиция французского министра финансов Луи-Люсьена Клоца приводила Кейнса просто в бешенство, тот отвечал злобным издевательством. И тут к переговорам подключился сам Ллойд Джордж, продемонстрировав, что не зря его считают мастером

полемики, которому лучше не попадаться на язык. Он сказал: «Три имени войдут в историю, как главные архитекторы большевизма – Ленин, Троцкий и…»

«Клоцкий!», выкрикнул кто-то из британской делегации, речь потонула в хохоте, а британский лидер перешел на язык жестов, целую пантомиму устроил, до того зло и остроумно изобразив француза, так показал выражение его надуто-самодовольного лица, что ясно было и без слов, кого он имеет в виду. Красный от ярости Клоц заткнулся, яростно пыхтя в свои пышные, с завитыми концами усы. Британцы возобладали, немцам разрешили купить большую партию зерна. Огромное число жизней было спасено.

Кейнс был приятно удивлен, даже восхищен вмешательством премьера. В свою очередь Ллойд Джордж, как будто был польщен тем, что его вечный оппонент из казначейства высоко оценил его полемические способности. Они оба вдруг потеплели друг к другу. Это был исторический момент в отношениях двух выдающихся людей эпохи – политика и экономиста, первый шаг на пути весьма серьезного будущего сотрудничества.

Что не помешало Кейнсу сочинить несколько лет спустя довольно злое эссе про Ллойд Джорджа. При том, что последний практически «перешел в кейнсианство»! Уйдя из кабинета, но став лидером либеральной партии, он в разгар кризиса написал статью «Мы можем победить безработицу», а несколькими годами позже и целую экономическую правительственную программу составил под названием «Новый курс Ллойд Джорджа», (по аналогии с рузвельтовским) . Оба документа были основаны на теории Кейнса, и написаны в тесном сотрудничестве с ним. Правительство национального единства во главе с Рамсеем Макдоналдсом даже всерьез рассматривало ту программу, но политические интриги консерваторов помешали принять ее.

Тогда, зимой 1919 года в Париже, британский премьер запоздало начал понимать, что наложение на Германию непомерно больших репараций может иметь эффект, обратный желаемому. Под тяжестью невыполнимых финансовых обязательств побежденный враг может и вовсе рухнуть – с непредсказуемыми последствиями для миропорядка. Но между тем именно такой, максималистский вариант проталкивали французы, австралийцы, да и некоторые высокопоставленные британские эксперты.

И вот тогда-то Ллойд Джордж через головы сановников обращается к Кейнсу, просит его срочно внести свои предложения по цифрам и возможным формам выплаты репараций.

И Кейнс садится писать свой знаменитый меморандум.

Вот остроумное решение, которое он предложил. Репарации выплачиваются не деньгами, а в основном специальными облигациями, выпущенными Германией и ее союзниками. Облигации с нулевым купоном (то есть без процента) сроком на пять лет. Но весь фокус в том, что их гарантируют не только государства-эмитенты, но и страны-победители, включая США. Тем самым эти облигации становятся залоговым и даже платежным инструментом высшего международного класса. Разделив их между собой, союзники затем могут рассчитаться ими же по своим долгам друг другу. Тем самым не будет создано дополнительного, невыносимого давления на Германию, и она сможет начать быстро восстанавливать свою экономику. Будет чем накормить немцев, австрийцев, венгров, чехов и так далее. Европа же тоже будет избавлена от непосильного долгого бремени и вернет себе кредитоспособность, а США получат гарантии платежеспособного спроса на свою продукцию (на которую в противном случае у Европы не было бы средств).

Конечно, Мейнард понимал, что в конечном итоге все упрется в позицию американцев: ведь именно США по этой схеме неизбежно оказывались в роли что называется «кредитора последней инстанции». Своего рода главного гаранта этих своеобразных платежных средств.

Могло показаться, что больше всего от такой схемы выиграют британцы (что, в общем-то верно, но это не значило, что все остальные были бы в проигрыше, Кейнс как раз показывал, что это вовсе не игра с нулевой суммой). Он отлично знал, в какой великолепной (по сравнению с Европой) форме находятся США, не сомневался, что набиравший скорость могучий локомотив американской экономики вывезет и себя, и остальных, что через несколько лет германский долг, который будет рано или поздно погашен деньгами, покажется незначительным эпизодом, а финансовый центр мира так или иначе перенесется в Нью-Йорк.

Можно предположить, что если бы гениальное предложение Мейнарда, своего рода предтеча «плана Маршалла», было бы принято в начале 1919 года, не было бы никакого Гитлера и ужасов Второй мировой войны. По крайней мере, был бы шанс избежать такого развития событий. Но американцам не хватило дальновидности и воображения. Президент Вильсон, искренне хотевший помочь Европе побыстрее залечить раны войны, не разбирался в финансах, а его финансисты оказались догматиками старой школы. Идею Мейнарда они не оценили, придя к выводу (не совсем безосновательному), что расплачиваться в итоге за это надо будет Соединенным Штатам. Правда, Кейнс доказывал, что американская экономика настолько сильна, что может легко вынести на себе эту дополнительную нагрузку.

Американцев, возможно, и был шанс убедить, если бы не абсолютно обструкционистская позиция Франции. Ллойд Джордж согласился с Мейнардом и попытался доказать его правоту другим лидерам, но Клемансо стоял

насмерть. Да и не мог он себе позволить идти против собственного общественного мнения, желавшего лишь двух вещей: во-первых, как можно больней наказать Германию и, во-вторых, как можно больше, по полному максимуму, и как можно быстрей, слупить с нее наличности. «L'Allegmagne paiera!» – «Германия за все заплатит!» – это был главный лозунг дня, ничего другого французы и слышать не хотели. В сознании обывателя он теперь должен был жить богато и счастливо за немецкий счет чуть ли не всю оставшуюся жизнь. Разве не справедливо это будет после причиненных проклятыми бошами страданий? А тут какой-то выскочка из английского казначейства со своими идиотскими идеями… У-у, коварный Альбион…

Кейнсу казалось очевидным, что Франция и лично Клемансо сознательно ведут дело к тому же: уничтожению Германии, не понимая, что обстоятельства сильно изменились со времен античности, и новый «карфагенский мир» в Европе XX века не удастся учинить без катастрофических последствий для всех сторон. Но вот чего Кейнс не ожидал, так это овечьей покорности, с которой остальные лидеры Западного мира пошли на поводу у Парижа. Разочарованный, он назвал пресловутый идеализм президента Вильсона «величайшим надувательством в мире», презрительно отозвался и о собственном премьере, не захотевшем или не сумевшем обуздать нового «Наполеона». Сам же Клемансо глубоко поразил Кейнса. Даже его внешний вид был удивителен. Серые замшевые перчатки, которых он никогда не снимал даже в помещении, и пряжки на элегантных дорогих туфлях вместо привычных шнурков – мелкая деталь, конечно, но такого Кейнс не видал никогда. И беспощадный холод и надменность, презрение к окружающим, почти не скрываемый цинизм. Не то, чтобы совсем уж уникальные качества для политика, но в такой

концентрации Кейнс видел их, причем с близкого расстояния, впервые в своей жизни.

5 июня 1919 года Кейнс написал записку Ллойд Джорджу, информируя его, что он уходит в отставку со своей официальной должности в казначействе в знак протеста против грядущего «уничтожения Европы». «Если мы стремимся разорить, довести до обнищания Центральную Европу, то, смею утверждать, расплата не заставит себя ждать. И тогда ничто на свете не сможет надолго оттянуть приход сил реакции и отчаянные конвульсии революции, в сравнении с которыми ужасы последней войны покажутся чепухой, и которая, вне зависимости от того, кто выйдет из нее победителем, уничтожит цивилизацию и весь прогресс, достигнутый нашим поколением», – писал он.

В 1919 году мало кому, кроме молодого кембриджского экономиста, было видно будущее. Уйдя в отставку с государственного поста, он вернется преподавать в университет и напишет небольшую, но очень горькую книгу. «Экономические последствия мира» станут бестселлером, будут считаться одним из самых влиятельных публицистических произведений эпохи. Но мало кто буквально поверит в ее мрачное пророчество, в предупреждение о ждущей Европу новой, еще более ужасной, чем Первая мировая война, катастрофе. Об авторе, впрочем, заговорят далеко за пределами академической и чиновничьей элиты. Он станет знаменитостью, его необычное имя будет у всех на устах.

Но это будет только начало, первый шаг на пути к Олимпу и всемирной славе.

ЗНАКОМСТВО

У Кейнса была в Итоне кличка: «Snout», то есть, «морда». Некоторые авторы-кейнсоведы трактуют это так,

что он был чрезвычайно уродлив. Сочувствуют. Вот, дескать, да, может быть, и гений, но уж настолько некрасивый… Тем более, что из переписки Кейнса известно, что он и сам страдал от болезненных комплексов по поводу своей внешности.

«Я всегда страдал и, видимо, буду страдать до конца дней от совершенно непреложной убежденности, что я так физически отвратителен, что не должен сметь навязывать свое тело кому бы то ни было другому», писал он своему близкому другу, а потом сопернику и почти врагу Литтону Стрейчи.

Но глядя на его фотографии той поры, можно предположить другое – походил он на какого-то диковинного зверя, то ли коня, то ли огромного, умного, но нескладного пса. Красавцем точно не назовешь, но и не квазимодо все же. Несколько иной смысл в ту кличку вкладывался.

Так или иначе, но в молодости успехом у девушек действительно не пользовался. Отвечал им презрением (возможно, по принципу «зелен виноград»). Считал существами иррациональными. С юношами чувствовал себя гораздо увереннее. Влюбился страстно и несчастливо в фантастического красавца – художника Данкена Гранта, этакого Дориана Грея (в смысле почти мистической привлекательности и для мужчин, и для женщин).

Это потом, когда Кейнс прославится, станет богат и знаменит, у него вдруг появится масса поклонниц. Женщины будут страстно и безответно влюбляться в него. Начнут вдруг находить его «морду» чрезвычайно привлекательной. Не обязательно, кстати, по чисто меркантильным соображениям. Я думаю, каждый из нас замечал, что деньги, власть и слава легко компенсируют физические недостатки, придавая мужчинам харизму, очарование и сексапил в глазах многих женщин. И это происходит, вполне возможно, на бессознательном, инстинктивном уровне. Ведь сексуальных партнеров

нужно искать прежде всего исходя из интересов потомства. Можно рассчитывать, что люди успешные и талантливые с высокой степенью вероятности передадут свои замечательные гены по наследству…

Так или иначе, но к 38 годам Кейнс считал себя законченным и убежденным знатоком и любителем мужской красоты. И грации. Когда в Лондоне выступал дягилевский балет («Спящая красавица» Чайковского), Кейнс отправился в перерыве за кулисы, в гримерные (раздевалку), искать встречи с поразившим его красавцем Станиславом Идзиковским.

Но танцора на месте не оказалось. К разочарованию Кейнса в раздевалке вместо него обреталась женщина – солистка балета, исполнительница роли спящей красавицы-принцессы. Но Кейнс был джентльменом – не мог никоим образом показать своего огорчения. Остался на несколько минут поболтать с балериной, тем более, что мог искренне похвалить ее танцевальную технику (невероятные прыжки!) и актерский темперамент.

Но о чем, казалось бы, говорить главному интеллектуалу Соединенного Королевства с какой-то там танцовщицей? Да еще иностранкой. Выговаривающей английские слова нелепо, с сильным восточно-европейским акцентом. При том, что строение фраз, грамматика – скорее французские….

Но балерина неожиданно показалась Кейнсу забавной собеседницей – ироничной и смешливой. С понятным английскому уму чувством абсурдного юмора. Даже ее странный выговор, небанальный выбор слов скорее смешили, чем раздражали. Ну и надо было быть джентльменом до конца, держать марку, пригласить для приличия случайную собеседницу пообедать. А та возьми и согласись – так что деваться было некуда.

Он шел домой, сам над собой смеялся («ничего себе, этак обо мне пойдут слухи, что я начал за дамами волочиться – да нет, конечно, никто в это не поверит!»).

Но, кстати – можно ведь через эту женщину и с Идзиковским познакомиться. Так что не совсем бесполезно будут потрачены время и деньги. Если конечно, удастся выговорить имя ее варварское. Мейнард подносил к глазам программку спектакля с автографом балерины: нет, это надо же! Лидия – это ладно. Но фамилия – что-то невозможное. Лоу-поу-кхова. Так что ли? Нет, есть английский вариант попроще: Лопокова, с ударением на втором слоге. Так оно легче.

КЕЙНСИАНСТВО – В ДВУХ СЛОВАХ

Наверно, полезно постараться свести суть даже самой сложной теории к одной ясной и простой, даже примитивной, мысли. В чем же суть открытия Кейнса? Если попытаться сформулировать его одной фразой, то она звучит примерно так: чтобы выйти из кризиса, чтобы успешно бороться с безработицей, государству нужно тратить больше денег. Конечно, это чрезвычайно грубое упрощение, грубое настолько, что оно грозит этот самый смысл радикально исказить. Но именно так, по моему опыту, представляет себе квинтэссенцию «кейнсианской революции» средний британский интеллигент с университетским (но не экономическим) дипломом. И доля истины в этой формуле есть. Что важно: она передает парадоксальность и неожиданность кейнсовского подхода к проблеме экономического спада, подхода, идущего вразрез с общепринятым, с тем, что кажется самоочевидным и понятным каждому. Ведь экономика должна быть экономной! Разве нет? Если плохи дела, ты в долгах, как в шелках, и заработок падает, то первое о чем надо думать, так это о сокращении расходов. Экономить надо на всем! Это же очевидно!

Нет, не очевидно, заявил Кейнс. Одно дело семейный бюджет, и совсем другое – гигантский, сверхсложный организм рыночной экономики. Как это ни

покажется странным, в условиях рецессии и тем более депрессии, выход может лежать в противоположном направлении.

С тех пор дефицитное финансирование национальной экономики, все эти «количественные смягчения» монетарной политики, фискальные стимулы и так далее стали обычной практикой в государствах Запада в моменты кризисов. Можно даже сказать, что правительства и центробанки иногда излишне этим набором средств увлекаются. (А Кейнс как раз предупреждал о том, что все хорошо в меру, и чрезмерная доза даже самого замечательного лекарства может навредить, а не помочь больному). Но в первой половине XX века идея Кейнса вызвала бурю, и истеблишмент долго не соглашался ее принять даже в качестве гипотезы. Сегодня же, стоит набежать на горизонт тучам кризиса, власть предержащие почти рефлекторно хватаются за кейнсианский рецепт. (Насколько грамотно, и насколько творчески они им пользуются, это другой вопрос). И это как раз доказывает, что так называемая «кейнсианская революция» победила во всем капиталистическом мире. Что бы там ни говорили ее идейные противники.

Итак: надо тратить больше денег. И все? Конечно, нет! Сводить все кейнсианство только к этому тезису нелепо. Это лишь поверхностный, умышленно провокационный, взгляд.

ГОРДИЕВ УЗЕЛ БЕЗРАБОТИЦЫ

Главная работа всей жизни Кейнса, «библия» его последователей – «Общая теория занятости, процента и денег», опубликованная в 1936 году. Сразу хочу сказать – читать «Общую теорию» в оригинале – крайне непростое занятие, требующее колоссального напряжения. Может быть, даже «кошмар», если воспользоваться выражением главного биографа Кейнса Роберта Скидельского.

Попробую помочь читателю в ней разобраться, хотя дело нелегкое. Но для начала обратите внимание на название. Чрезвычайно важное обстоятельство – почему вдруг на первое место поставлена именно занятость? Не монетарная или кредитная или фискальная политика, а именно занятость?

Проблема безработицы центральна для всего научного и публицистического творчества Кейнса.

Главный вывод, к которому Кейнс пришел еще в 20-х: безработица – не только страшное социальное зло, но и то самое звено в запутанной цепочке, за которое надо ухватиться, если хочешь быстро вытащить экономику из кризисного или предкризисного состояния. Если знать, как грамотно бороться с безработицей, то достигаешь одновременно двух великих целей: и экономика перезапускается, расширяется после болезненного кризисного скукоживания, и в то же время огромное число людей, оказавшихся жертвами, попавших в ловушку порочного кризисного круга, быстро выводится из бедственного положения. Вслед за Томасом Мальтусом Кейнс всегда считал, что нищета в сочетании с вынужденным бездельем (особенно если это состояние затягивается на годы, а то и десятилетия) уничтожает человеческую личность, рушит семьи и социальные связи, убивает творческий потенциал общества, тормозит прогресс.

Может показаться странным, что Кейнс так высоко ставил Мальтуса, считал себя его последователем. Но не верьте советским учебникам: тот вовсе не был жестокосердым циником, пытавшимся решить проблемы буржуазии с помощь установления искусственных преград для физического размножения рабочего класса. Мальтус исходил как раз из горячего человеческого сочувствия, сострадания к потерявшим трудовой заработок. Но не видел в свое время никаких других способов облегчить долю безработных. Вот это

представление о безработице как о величайшем социальном и даже биологическом зле, прежде всего и роднило Кейнса с Мальтусом. Ну и то, что Мальтус показал, что вопреки романтическим представлениям классиков, безработица вовсе не является неким недоразумением, частным случаем рыночных взаимодействий, а напротив, она – неизбежное их следствие, особенно в моменты спада и рецессий, которые в свою очередь являются неизбежными спутниками капитализма.

Мальтус на сто лет обогнал свое время, поскольку был первым экономистом, всерьез бросившим вызов классику – Дэвиду Рикардо. Рикардо и Мальтус, которые, как ни странно, были близкими друзьями, с двух разных сторон сформулировали позиции великого спора.

Капитальное инвестирование в оборудование и машины жизненно важно, оно ведет к росту объему производства и сделает нацию богаче, утверждал Рикардо. К росту производства оно действительно может привести, но насчет богатства есть сомнения, возражал другу Мальтус. Что толку производить больше, если произведенное останется нераскупленным. А перепроизводство – это путь к безработице. Рикардо отвечал на это: Да, может быть, и случается иногда некоторое перепроизводство какого-то отдельного товара. Однако, когда спрос на один вид товара упадет, он тут же вырастет на другой. Пройдет немного времени, и равновесие будет восстановлено. Поэтому безработица может быть только временным явлением.

И вот с 1820 года позиция Рикардо оставалась нерушимой догмой. А Мальтус ос своим особым мнением числился маргиналом и чудаком. И только Кейнс поднял «знамя Мальтуса» и нанес мощный (многие считают, что смертельный) удар по классической традиции.

Из Рикардо выросло supply side economics – представление о том, что Предложение само создает Спрос

(закон Сэя). Выставив товар на рынок, вы тем самым уже создаете стоимость, а значит, и доход, с помощью которого (косвенным образом) этот товар будет куплен. Производство, (оно же Предложение) создает точно такое количество дохода, чтобы население могло купить все произведенное. Перепроизводство невозможно по определению. (Но мы-то с вами, даже без специальной экономической подготовки знаем, что уж что-что, а кризисы перепроизводства – одно из родимых пятен, а заодно и ахиллесова пята современного капитализма, а вовсе не какое-то временное недоразумение).

Но из Рикардо вырос еще и весь марксизм. Кейнс напишет: марксизм основан на ошибке Рикардо. Возможно, в общем виде имеется в виду его утверждение, в переписке с Мальтусом, что политическая экономия должна заниматься вовсе не анализом причин и природы создания общественного богатства (как полагал Мальтус), а «законами, определяющими распределение произведенного продукта между классами, участвующими в его создании». Но возможно, речь о другом: Рикардо и Маркс пытались найти количественное выражение компонентов труда в создании стоимости, и, таким образом, сформулировать теорию «истинной» или «естественной» цены. Ну и к тому же, Рикардо полагал, что доход капиталиста есть вычет из произведенного обществом и что заработные платы и доход находятся в обратной зависимости. От этого уже один шаг до теории прибавочной стоимости.

Любопытно, как в условиях «реального социализма» культ Предложения был доведен до окончательного абсурда. При административно-командной системе экономикой перепроизводства не должно было быть. И все же оно было: происходило массовое затоваривание тоннами никому не нужных изделий. В то же время по большинству позиций свирепствовал тотальный дефицит, несчастный Спрос был низведен до уровня пассивного и

бессильного участника экономического процесса. Хотя по большому счету даже и употреблять эти термины в условиях отсутствия реальных цен совершенно бессмысленно. Какой там Спрос, какое Предложение… Цены диктовало правительство и, разумеется, совершенно не справлялось с этой задачей, да и справиться не могло. Не изобретен еще такой компьютер, который мог бы принять миллионы необходимых экономических решений в день, подменяя собой рыночные механизмы.

Но в XIX веке Маркс принял сторону Мальтуса в одном, но крайне важном, аспекте его спора с Рикардо и Сэем: он считал, что кризисы перепроизводства будут все более жестокими. А потом пошел гораздо дальше Мальтуса, выводя из неизбежности и растущей остроты кризисов предположение об абсолютном обнищании рабочего класса и в итоге – о неизбежной скорой гибели капитализма. Кейнс сделал противоположный вывод. Но ему тем легче было опровергать Маркса, что в тридцатых годах XX века реальная зарплата британского рабочего была в два раза выше, чем у его, рабочего, дедушки. За единицу труда можно было получить в два раза больше еды. Один из центральных и легко проверяемых тезисов Маркса оказался наглядно опровергнутым. Между тем без него рушилась вся концепция. Столь же наглядно абсурдной стала в XX столетии и идея диктатуры пролетариата. Общество быстро менялось на глазах, доля рабочих в его составе постоянно снижалась, а средний класс («просвещенная буржуазия», как называл его Кейнс) – наоборот непрерывно рос.

Но вот парадокс: при всей очевидной несостоятельности основополагающей теории, политические и государственные силы, провозгласившие себя марксистскими, наоборот, стали в XX веке огромной, реальной силой, угрожавшей самому существованию рыночной экономики, политической демократии и плюрализма во всемирных масштабах. При этом ловко и

для народных масс незаметно была произведена подмена – диктатуру несмышленого пролетариата заменили диктатурой сектантской псевдопартии. Почему псевдо? Да потому что само слово «партия» по определению происходит от французского «partie», а то в свою очередь от латинского «partire» – «делить». То есть это по определению одна, отделившаяся часть целого – плюралистического политического сообщества. Одно из нескольких политических образований – один из вариантов на выбор людям. Но отнюдь не жесткая иерархическая структура, не подобие средневекового монашеского ордена, имеющего монополию на несменяемую власть. Псевдопартия и созданная ею иерархическая номенклатура присвоили себе и средства производства, невозмутимо уверяя доверчивых, что это и есть форма общенародной собственности. Та же номенклатура контролировала и распределение общественного продукта.

Таким системам, по сути полуфеодальным (тот самый госфеодализм об опасности возникновения которого предупреждали Маркс и Энгельс) успешно удавалось выдавать себя за социалистические, марксистские – хотя к марксистскому идеалу они имели мало отношения. Тем не менее, их антикапиталистические проповеди имели успех не только среди собственного, подверженного массированной государственной пропаганде населения, но и среди большой части рабочих и даже представителей среднего класса Запада, безмерно уставших от «американских горок» спадов и подъемов и других болезненных изъянов капитализма, прежде всего массовой безработицы. И потому готовых поверить в миф «освобожденного труда».

Кейнс считал своей миссией усовершенствовать капитализм, если не совсем вылечить его, то, по крайней мере, радикально смягчить течение его хронических болезней, спасти его от наступления темных, варварских

сил, тянущих человечество в прошлое, пытающихся, по сути, перечеркнуть достижения Ренессанса.

Но для начала Кейнсу нужно было расчистить авгиевы конюшни – разжать удушающую хватку классических догм, которым подчинялись не только экономисты, но, и что важнее, государственные деятели, изучавшие в молодости экономику по Рикардо и Сэю.

Итак, с точки зрения Кейнса безработица – критически важный узелок. Развязать его – значит в значительное мере решить главную проблему современного капитализма. Но именно развязать, а не разрубить. Развязывая, не повредить сложный узор рыночной экономики. И уж точно не по Марксу действовать, не пытаться подменить тонкие рыночные механизмы тупым инструментом тотального государственного регулирования. Решение проблемы занятости, согласно Кейнсу, спасало капитализм от воздействия марксистского яда.

«Авторитарные государственные системы наших дней якобы решают проблему безработицы, отказываясь от эффективности и от свободы… Но существует возможность с помощью правильного анализа вылечить эту болезнь, сохранив при этом и свободу, и эффективность», – писал Кейнс в заключительной части своего главного труда – «Общей теории занятости, процента и денег».

«ЛЕНИН БЫЛ ПРАВ!» НЕУЖЕЛИ?

В условиях кризиса (а именно для решения проблем кризисной экономики прежде всего существуют все эти модели) государство обеспечивает доступность кредита для предпринимателей, снижая учетные ставки и проводя финансовое смягчение. В экономике должно быть в этот острый момент много «дешевых денег», которые наращивают инфляционные тенденции (но в разумных

пределах, разумеется!). Кейнс доказал, что умеренная инфляция не только не зло, а напротив, необходимая для роста «смазка» экономического механизма. В условиях растущей инфляции начинает ослабевать психологически свойственное человеку «предпочтение ликвидности» (то есть держать деньги под матрасом или, в крайнем случае, на текущем счету), которое тормозит процесс перевода сбережений в инвестиции, а значит и сдерживает рост производства и занятости.

Одновременно, борясь с безработицей, государство в момент кризиса и глубокой рецессии прибегает к массированной программе общественных работ. Но не только: еще осуществляется государственное финансирования инвестиций, причем непосредственные пути их использования остаются на усмотрение частного сектора (никаких национализаций, кроме так называемой «социализации инвестиций» и то временной, Кейнс не признавал).

Существенно увеличивая занятость, вы «кладете деньги в карманы рабочих». А это значит, что существенно возрастает потребление товаров и услуг. То есть растет СПРОС, который порождает ПРЕДЛОЖЕНИЕ. А растущее предложение в свою очередь создает дополнительные рабочие места, которые ведут к дальнейшему росту спроса. То есть создается нечто противоположное замкнутому порочному кругу кризиса – «круг добродетельный». Эффективный спрос и растущее в ответ на него предложение выводят экономику из рецессии.

Противники обвиняли Кейнса при жизни в том, что он проявляет бездумную, беспечную, преступную небрежность, игнорируя смертельную опасность инфляции. Играет с этой страшной разрушительной силой, которая может уничтожить и экономику, и социальный мир. И этот тезис находил мощный отклик и у экономистов, и у обывателей. Ведь после Первой мировой

войны они воочию наблюдали ужасы гиперинфляции, и именно ее ассоциировали с массовой нуждой и лишениями, с острыми конфликтами на грани гражданской войны.

Но Кейнс прекрасно все понимал про инфляцию. Вот цитата из «экономических последствий мира»:

«Как говорят, Ленин объявил, что коррумпировать валюту – это лучший способ уничтожить капитализм. Развивая процесс инфляции, правительства могут конфисковать, тайно и незаметно, значительную часть благосостояния своих граждан… По мере роста инфляции курс национальной валюты скачет от месяца к месяцу, и все устоявшиеся отношения между должниками и кредиторами, которые составляют глубинный фундамент капитализма, приходят в такое расстройство, что теряют почти всякий смысл. А процесс создания богатства вырождается, превращаясь в азартную игру и лотерею… Ленин был, безусловно, прав. Нет более тонкого и более верного средства перевернуть основы общества, чем коррумпировать его деньги. Этот процесс приводит в действие все скрытые механизмы законов экономики, начинающие работать на разрушение, причем таким образом, что и один из миллиона не сможет точно поставить диагноз».

Так что Кейнс не питал иллюзий относительно благотворности гиперинфляции. Но в тридцатые годы главная опасность исходила с противоположного фланга – со стороны дефляции. Особенно коварной угрозы, поскольку настрадавшееся в прошлом от инфляции население не то что безмятежно, а просто с благостной улыбкой воспринимало, по крайней мере, поначалу, снижение потребительских цен. Не понимая, какой это страшный симптом. И даже когда экономика вокруг уже рушится, как карточный домик, когда катастрофически вдруг вырастает безработица, останавливается производство и выстраиваются бесконечные очереди к

биржам труда и суповым котлам Армии Спасения, все равно обычному человеку не хватает воображения разглядеть прямую связь между обрушившимся невесть откуда бедствием и радостными сообщениями о снижающихся ценах. Да что там обыватель, и профессиональные экономисты и, главное, руководители государств, как черт ладана боялись все же именно инфляции и тоже отказывались признавать новую реальность. И совершали в результате чудовищные ошибки, только усугублявшие ситуацию.

И ПОКУПАТЕЛИ, И ПРОДАВЦЫ

Кейнс дружил с Бернардом Шоу, несмотря на фундаментальные различия в политических взглядах (Шоу был крайним леваком, но чего только не простишь большому таланту). Шоу приставал к Кейнсу, уговаривал еще раз перечитать Маркса и Энгельса. Наивно полагая, что внимательное чтение этих авторов может обратить Кейнса в «истинную веру» марксизма. Кейнс отмахивался, отмахивался, потом все же выполнил просьбу. Но вынужден был огорчить приятеля: ничего притягательного для себя в писаниях «основоположников» он и со второй попытки не обнаружил. Ну и вообще… «Чтобы понять состояние моего ума, Вам следует знать, что я… пишу книгу по экономической теории, которая, как мне представляется, совершит большую революцию – предполагаю, что не сразу, но в течение лет десяти – в том, как мир смотрит на экономические проблемы… Я не ожидаю, что Вы или кто-либо еще поверит мне на этом этапе… Но я не просто надеюсь, что это произойдет, нет, я в этом вполне уверен», писал Кейнс в письме писателю в 1935 году.

Речь шла, разумеется, об «Общей теории», которая будет издана годом позже.

Кейнс как-то написал, что «за спиной экономиста часто сидит какой-то злой гений, который толкает его под локоть, заставляя писать очень сложно», и дал понять, что имеет в виду и самого себя в том числе. Кейнс прекрасно понимал, что в первую очередь это относится к главному труду его жизни – «Общей теории занятости, процента и денег». Он невероятно сложен для восприятия. Не случайно он в предисловии сразу предупредил, что труд предназначен для профессионалов, понимая при этом, что и им будет нелегко. Дилетантов, берущихся прочитать и понять его, он сравнил с человеком, пытающимся подслушать через стенку чужой разговор без начала и конца. (Видимо, это и ко мне в таком случае относится: в свое оправдание могу сказать лишь, что я старался подслушивать очень внимательно, не пропуская ни единого слова). Главный биограф Кейнса Роберт Скидельский, человек, более чем подготовленный для восприятия профессиональных экономических текстов, называл чтение «Общей теории» «кошмаром». И для меня это было тяжелым, хотя и благодарным занятием, на которое я потратил больше времени, чем на какой бы то ни было другой текст схожего объема в своей жизни.

В итоге я, уподобляясь жене гения, пришел к музыкальному сравнению. «Общая теория» - это нечто вроде сложнейшей симфонии. Наверно, все-таки не Бах и не Бетховен и тем более не Моцарт, а скорее Шенберг, Хиндемит, Стравинский и Шнитке вместе взятые… Перемноженные друг на друга и некий мультипликатор сложности, но и с добавлением элемента светлого второго концерта Рахманинова, может быть, тоже. Без подготовки и усилия не оценишь, но если потрудишься, то откроются тебе красоты нездешние.

Ну а если бы мы стали добиваться от Кейнса одной фразы, что важнее всего знать, что нужно понимать прежде всего, берясь за чтение его великого труда, то, кажется мне, он повторил бы мысль, которая на разные

лады звучит в тексте «Общей теории»: те же люди, что продают свой труд, покупают произведенное другими людьми, которые тоже продают свой труд. Все мы одновременно и покупатели, и продавцы. Кейнс цитирует Джона Стюарта Миллса, (проверить) (а я цитирую Кейнса): «Все продавцы… неизбежно являются и покупателями. Если бы внезапно можно было удвоить производительные силы страны, то мы удвоили бы также и предложение товаров в каждом сегменте рынка, и тем самым, мы одновременно удвоили бы и покупательную способность. Каждый…был бы способен купить вдвое больше, потому что каждый вдвое больше предложил бы в обмен».

За что же «воюет» в своей симфонии Кейнс? И против чего ополчается? Против безработицы, разумеется, но еще один его «враг» - это процент. В значительной мере книга о том, как ограничить его власть над деньгами, капиталом, обществом, людьми.

Кейнс доходит даже до того, что (не без некоторого своего скрытого юмора, небольшой фиги в кармане) якобы всерьез объявляет себя поклонником средневековых законов, запрещавших ростовщичество и любые формы взимания процента с одолженных денег. Не по моральным соображениям, а потому, что процент душит инвестиции в производство.

Я решился предложить читателю свой вариант изложения взглядов Кейнса. С огромной долей упрощения, при которой очень много ценного, замечательного, безумно интересного и оригинального, конечно, потерялось. Но уж я старался, как мог – и упростить и в то же время «не выплеснуть с водой ребенка». Задача адова. Но, по крайней мере, представление получите и сможете понять, будете ли вы читать оригинал.

Вот сокращенный вариант статьи в Википедии – из ее особого раздела, который называется «Simple English» – «Простой английский»: нечто для чайников.

«*Кейнс сказал, что капитализм – хорошая экономическая система. Но в ней иногда бывают проблемы. Люди теряют работу, бизнесы закрываются. Люди не могут работать и не могут тратить деньги. Кейнс сказал, что правительство должно вмешаться и помочь людям, не имеющим работы. Правительство может одолжить денег и дать людям работу… Тогда они смогут опять тратить деньги и покупать вещи. Это помогает и другим людям найти работу… Идеи Кейнса не нравятся консерваторам, либертарианцам и поклонникам Австрийской экономической школы. Они говорят, что вмешательство правительства не помогает капитализму… что если правительство одалживает деньги, оно забирает их у бизнесов…. Они говорят, что экономика может выздороветь без помощи правительства*».

Простенько? Примитивно? Может быть, но в каком-то приближении этот текст передает суть центральной идеи «Общей теории занятости, процента и денег». И адекватно воспроизводит главный аргумент ее критиков справа. Но ни слова о критиках слева. С точки зрения последних, Кейнс развивался в «правильном направлении», но чуть-чуть не дошел, не дозрел – до понимания марксизма. (Ну что делать, ну не хватило ума человеку, куда уж ему…).

Но в целом « раздел для простаков» ухватил суть – если уж надо так, жестоко, упрощать. Но я уверен, что мои читатели хотели бы все же более высокого уровня. Ведь в сложности «Общей теории» есть своя красота. И огромное количество интересных, оригинальных, может быть, и до сих пор не до конца оцененных человечеством идей. Я уже уподоблял этот труд сложнейшей, неземной, прекрасной симфонии. Но, коли уж речь зашла о писателях

и драматургах, то можно по ассоциации сравнить ее и с многоактной драмой.

Но кто в таком случае действующие лица этой пьесы?

Главная злодейка - госпожа **Безработица,** в ней находят свое отражение все проблемы и болезни рыночной экономики и общества. Ее бурный рост – предвестник стихийного бедствия, зовущегося **Кризисом. Кризис** – это состояния чистилища для всего общества, откуда может открыться и дорога в ад **Депрессии.**

Пособница **Безработицы** – коварная соблазнительница мисс **Процентная Ставка**, драматург мечтает о временах, когда ее практически не будет (будет равна нулю или меньше). Но пока такое не достижимо, надо стремиться максимально обуздать ее, пригнуть пониже. Потому что когда она высоко задирает свой нос, то неизбежно конфузится и начинает хиреть легко уязвимый, быстро худеющий мистер **Потребительский Спрос**, теряет вес и впадает в депрессию госпожа **Инвестиция** и как на дрожжах растет и пухнет злая **Безработица**.

Потребление и **Инвестиция** вроде бы сестры, но они обладают магической способностью объединяться, сливаться, превращаясь в героя по имени **Эффективный Спрос**, который отважно и решительно сражается против тирании **Безработицы**. Но чтобы набрать должную силу, ему нужна поддержка **Дирижера** – государства, который может дать ему силу, взмахнув за кулисами своей волшебной дирижерской палочкой.

Конечно, положителен и работяга герр **Капитал,** создающий блага и ценности этого мира, хоть и делающий это бездумно, не догадываясь, кто его настоящий друг, а кто – враг.

Мсье **Деньги** – персонаж нейтральный. Может служить и добру, и злу, ему, цинику, все равно. Но тем не менее – это очень важное действующее лицо всей драмы,

от его веса (массы тела), и скорости, с которой он движется-вертится, зависит очень многое, а потому ему принадлежит большая, заметная роль.

Кроме того, он – объект сатанинской, губительной страсти, корежащей жизни людские – любви к **Деньгам**, особенно к наличным.

Кейнс, разумеется, таких слов как «страсть» не употребляет, он пишет о «предпочтении ликвидности», могущем при некоторых обстоятельствах играть роковую роль. Еще один его любимый термин звучит так: «склонность к потреблению». И вообще один из важнейших выводов, к которым приходишь, читая «Общую теорию» - на самом деле экономика это не про цифры, а про психологию.

Вновь и вновь Кейнс подчеркивает важность попыток отгадать будущее, «ожиданий». Например, на какую доходность рассчитывают предприниматели от вложенных инвестиций? А от банковского вклада или от облигаций? Каковы ожидания изменений в процентной ставке? Или – какого ожидают люди движения цен и заработных плат, чего ждут в ближайшем будущем – дороговизны или снижения цен? От этих массовых настроений зависит, куда пойдет экономика – вверх, к сияющим высотам очередного подъема и стойкого роста. Или покатится вниз, в пропасть рецессии, а то и в ад депрессии.

80 лет спустя в этом смысле ничего не изменилось, разве что масштабы. В казино теперь играют не на миллионы, а на миллиарды и триллионы. И результат не то, что нехорош, а просто катастрофичен: чреват непредсказуемыми и, возможно, ужасными последствиями. Например, эти опасные игры резко обострили последний кризис 2008-2009 годов, поставив мир на край депрессии.

И вот еще какой термин придумал Кейнс: «animal spirits» – «дух зверя» или, если переводить благообразнее,

«животные начала». Из-за них люди ведут себя нерационально, что бывает худо, но с другой стороны, они же могут служить спасением для всего общества, когда надо, вопреки пессимистическим прогнозам, и иногда даже логике, нырнуть с головой в омут, надеясь выплыть с призом в руках, поддаться азарту предпринимательского риска. Иногда, в разгар жестокого кризиса, на эти самые «животные начала» – вся надежда.

О Кейнсе всегда вспоминают не в благополучные тучные годы, а именно во времена кризиса и падения уровня жизни.

Но что там конкретно прописано, в этом самом кейнсовом спасительном рецепте? Главное его лекарство (произнесу еще раз) зовется **Эффективным спросом**. (Да, да, тот самый отважный герой-враг безработицы). Но что это за чудо такое, из каких целебных ингредиентов он состоит? Это – расходы общества на потребление **плюс** расходы на новые инвестиции. (Можно ведь считать, что и инвестиции – это своего рода спрос – на капитал, на то, что называется «факторами производства»). На инвестированные деньги предприниматель должен арендовать землю и помещение, нанять рабочую силу, закупить станки и запчасти к ним и так далее. Но это все можно считать тоже своеобразным спросом. Которому самое место встать рядом с деньгами, расходуемыми населением на покупку потребительских товаров и услуг, то есть на то, что зовется потреблением. Эти потребительские деньги, стимулируют предпринимателей на расширение производства, на создание дополнительных рабочих мест.

И то, и другое вместе, именуемое **Эффективным спросом**, и определяет, по Кейнсу, объемы производства и занятость. Когда пугливый потребительский спрос, начитавшись бульварной прессы, начинает хиреть, безработица начинает расти. И тогда это хирение одной половины **Эффективного спроса** можно и нужно

компенсировать наращиванием второй его «половины» – капитальными инвестициями. Тогда удастся остановить рост безработицы, и, положив деньги в карманы рабочих, поддержать тем самым и спрос потребительский. Нужны новые вложения в капитал, в производство. Если частный сектор с этим не справляется, то ему должно придти на помощь государство. И это будет вовсе не социализм, а усовершенствованный капитализм.

Крупномасштабная скупка центробанком облигаций – это классическая кейнсианская мера. Она ведет к падению цен на облигации, а значит, и к снижению процентных ставок. Поддержание учетной ставки на низком уровне, увеличение денежной массы в обращении, госфинансирование, если нужно, то и в долг – это все завещанные Кейнсом рецепты спасения от кризиса. Кое-кто ворчит: все равно от болезненных последствий спада не смогли избежать. И это правда. Но можно предположить, что без кейнсианских действий, кризис мог быть куда более жестоким, мог даже перерасти в длительную депрессию. Между тем все происходит точно так, как это и предсказывал Кейнс: скукожившаяся было экономика начинает снова потихоньку расширяться. И, получив первые хорошие новости самые рисковые из предпринимателей, те из них, что наделен «животными началами», снова как в омут с головой бросаются в создание и расширение производственных мощностей, а значит, и нанимают все больше рабочих. Можно надеяться, что порочный круг кризиса разорван. Если политики не наделают ошибок и не случится непредвиденного форс-мажора, то, скорее всего, начнется новый подъем. (До поры до времени, конечно, ведь цикличности рынков никто не отменял).

ПОЧЕМУ НЕ РАЗБОГАТЕЛИ ЭКОНОМИСТЫ?

Все они – неоклассики, монетаристы и нео- и посткейнсианцы, при всех своих спорах и разногласиях, оказались трогательно едины в одном – неспособности предупредить население о надвигающейся буре последнего кризиса. Причем не то, чтобы они от нас что-то такое скрыли. Нет, лучшее доказательство тому – в факте, что никто из них не разбогател на наших глазах. Как известно, если прикуп знать, можно не работать – а в данном конкретном случае даже приблизительное представление о времени и масштабе кризиса позволило бы без особого труда сделать на нем гигантское состояние. Где же вы миллиардеры и мультимиллионеры, вылупившиеся из экономистов? Но кейнсианцы могут, по крайней мере, указывать на своего основоположника, как на конкретный, хотя уже и далекий пример совпадения теории с практикой.

В 1919 до этого еще будет далеко и раздосадованный инертностью властей и сограждан, а также тщеславным упрямством коллег-экономистов, не желавших позволить ему «сотрясать устои», Кейнс решит показать им, где раки зимуют. Вернее, как знания можно обратить в деньги.

Для начала он отправился на валютную биржу и сделал ставки на движения курсов мировых валют. Он торговал с кредитным плечом - занял позиций на 40 тысяч фунтов, внеся лишь 10 процентов депозита. Хотя надо вам сказать, что в то время и 4 тысячи были целым состоянием – зарплатой университетского профессора за много лет.

Кейнс выстроил спекулятивную стратегию в точном соответствии со своими теоретическими выкладками, предполагавшими постепенный рост доллара и падение большинства европейских валют. Через полгода с небольшим он заработал 22 тысячи фунтов на падении французского франка, правда, с долларом не угадал –

потерял 8 тысяч. Итого – 14 тысяч чистой прибыли, сделанной из ничего, из воздуха! Вернее, из применения умозрительных теорий. В 1921 году он перешел на торговлю хлопком, металлами, резиной, сахаром и пшеницей. Вернее, стал делать ставки на движения цен на все эти товары. Вскоре он уже покупал и продавал акции.

К концу 1924-го созданное на этих спекуляциях состояние составило 57 тысяч 797 фунтов. Он стал не просто состоятельным – богатым человеком. И ведь все это делалось так, между прочим, в перерывах между интенсивной научной и педагогической деятельностью.

Но еще больше инвестор Кейнс развернулся, когда стал казначеем родного колледжа в Кембридже, получив под свой полный контроль весь не великий капитал этого учебного заведения. Но это он до Кейнса был невелик. А потом стал велик. Кейнс принял его с тридцатью тысячами на счету в двадцатых годах. А когда он умер в 1946-м, то оказалось, что он превратил его в одно из самых богатых частных учебных заведений страны, располагавшее активами на 380 тысяч фунтов стерлингов. И это за период, включавший в себе Великую Депрессию и Вторую мировую войну, события, уничтожившие подавляющее большинство частных состояний. Лондонская биржа рухнула. Доверенный же Кейнсу капитал вырос за это же время в 12 с лишним раз! И это при том, что все эти годы колледж прекрасно жил на дивиденды с того же капитала, Кейнс их не реинвестировал.

Так что же – умный, рациональный Кейнс и глупые современные экономисты, которые нам с вами к несчастью достались?

Не совсем так. Кейнс, конечно, велик, но и ему доводилось получать изрядные оплеухи от рынков. Однажды, в самом начале 20-годов, он оказался разорен – практически банкротом с огромным, многотысячным долгом. Случилось это из-за совершенно иррационального поведения американского доллара. По всем теоретическим

выкладкам, по всем открытым Кейнсом законам и нарисованным моделям, валюта США должна была расти и существенно. Но упорно отказывалась это делать. Вопреки всякой логике и науке. Да плевать хотел доллар на самого умного экономиста на планете и на логику вообще! В то же время и германская марка вела себя тоже совершенно неприлично. Падать, непременно падать она была обязана, но нет, целых три месяца подряд только и знала, что росла. А игры «с плечом» жестокие – и выигрыш твой может быть велик, но и проигрыш легко может превысить размер депозита. И многократно!

Но у Кейнса к тому моменту уже были богатые поклонники его таланта (включая его отца и друзей). Выручили, ссудили большими суммами. Да и гонорары от книг помогли. И что вы думаете, Кейнс, обжегшись, прекратил биржевые игры? О, нет, наоборот! Он играл в еще более широких масштабах, но поменял стратегию и быстро отыгрался. Главное, он сделал глубокие выводы из неудачи. Он сформулировал это так: «Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем ты сможешь оставаться платежеспособным». Краткосрочные игры – это лотерея, казино, повезет- не повезет, надежда на удачу. На чудо. А умные люди в лотерею не играют. Самую рациональную стратегию игры в лотерею, кстати, предложил один неокейнсианец, забиравший лотерейные билеты у своих друзей и выбрасывавший их в окно машины. Скажите спасибо, говорил он, массу времени вам сэкономил, проверять понапрасну не надо.

Кейнс разработал суперрациональную методологию долгосрочных инвестиций в индивидуальные компании. Эту методологию позднее в полной мере взял на вооружение американец Уоррен Баффет. И стал, как известно, самым удачливым инвестором всех времен и народов и одним из самых богатых людей мира. Правда, когда грянула Великая Депрессия, Кейнс чуть было не разорился опять. Притом, что наступление сурового

кризиса он предвидел. Но понадеялся на рациональные действия финансовых властей США, прежде всего Федеральной Резервной Системы. И, увы, ошибся, какая там к черту рациональность…

Если сделать «зум-ин», внимательно рассмотреть с близкого расстояния участников рынка, то выяснится что с рациональностью дело плохо у всех. Правда, благоглупости разнонаправлены и часто гасят друг друга, но далеко не всегда. Выбор потребителя сплошь и рядом определяется недостатком информации или некачественным анализом, а также устаревшими стереотипами и предрассудками или бессмысленными причудами моды. Тысячи людей боятся летать самолетом и делают иррациональный выбор в пользу наземного транспорта, причем логически они понимают, что риск погибнуть или стать инвалидом тем самым увеличивается. Таких примеров нерационального потребительского выбора – сколько угодно. Иррациональность проявляется и на всех остальных уровнях экономического процесса.

… На поведение инвесторов – причем не только мелких, но и крупных – самым роковым образом влияют не только нелепые моды, но и слухи, ложные ожидания, паника. Люди норовят продавать акции, когда «все продают» и покупать , когда «все покупают», хотя чаще всего надо поступать наоборот. Кейнс говорил, что может доказать математически: там, куда рвануло большинство, рациональному инвестору делать уже нечего.

Абсолютно нерациональными действиями кажутся массированные инвестиции нулевых годов этого века в некачественные ипотечные кредиты. Крах был не то что высоко вероятным риском, а неизбежностью. Этот пузырь просто не мог не лопнуть по всем законам материального мира. Рассчитывать на другой исход – значило рассчитывать на ЧУДО и только на него. И именно этим занимались десятки крупнейших западных банков! Причина – жадность менеджеров. Подпадающая под

категорию так называемого «иррационального рационального» (теория Брайна Каплана) , согласно которой в обществе существует масса ситуаций, когда люди принимают стратегически совершенно нерациональные решения, обеспечивающие тем не менее достижение краткосрочных целей. В данном случае банкиры получали абсурдно высокие премии за действия, наносившие ущерб стратегическим интересам банка, иногда даже ставившие под угрозу само его существование. (вспомните пример «Lehman Brothers»). Не говоря уже о последствиях для нас, наивных обывателей.

Сугубо нерациональными бывают и решения на государственном уровне. Например, принятие в еврозону Греции. С самого начала было очевидно, что экономика страны не готова к механизму единой европейской валюты. Рассчитывать на то, что Греция не только не скатится еще ниже, но даже сможет радикально исправить свое положение – было совершенно равносильно ожиданию ЧУДА. Тем не менее, на таком ожидании построили свою политику правительства основоположников еврозоны, за что и расплачивается ныне вся Европа жестоким кризисом. Но это позволяло политикам решать свои краткосрочные задачи, то есть это опять же можно считать примером «рационального иррационального».

Отсутствие какого бы то ни было регулирования на многотриллионном рынке деривативов – это тоже пример из этого же ряда. Равносильно тому, чтобы подбросить вверх огромное количество острых и тяжелых предметов и, закрыв глаза, сидеть и ждать, что все они каким-то образом упадут мимо. Но именно такая политика «на авось» проводилась развитыми государствами на протяжении многих лет.

Но всегда ли иррациональность несет сплошной вред и хаос? Не обязательно.

При полной, машинной рациональности не родилась бы наверно современная энергетика. Упертые фанатики нефтяной идеи Эдвин Дрейк, Паттило Хиггинс, Джордж Рейнолдс и многие другие жизни свои положили чтобы добуриться до «черного золота» там, где рациональные ученые ее искать не советовали. Мультимиллионер Уильям д'Арси полностью разорился и даже заложил собственное жилье, чтобы финансировать поиск нефти в Иране. Кроме него, никто не верил, что там ее можно найти.

Если быть до конца рациональными, то зачем вкладывать деньги в гражданские авиаперевозки, например? Очень нелегко получить приличный дивиденд, с окупаемостью часто проблемы. Практически невозможно было бы найти инвестиции для строительства железнодорожного тоннеля под Ла-Маншем и скоростных железнодорожных веток – ведь они тоже не скоро окупаются, даже при государственных субсидиях и гарантиях.

Экономический рост во многом – функция одалживания у будущего. Через кредит. Кредит происходит от слова «кредо» – верю. А любая вера не до конца рациональна. Можно говорить лишь о пропорциях – насколько она обоснована. Но все равно потребуется некий процент допущения. «Чую, толковый ты парень… ладно, рискну парой тысяч, хоть и не до конца понимаю, что ты придумал». Эта простецкая фраза на самом деле очень часто отражает суть вполне серьезных инвестиционных и кредитных решений, принимаемых, в том числе, и крупными игроками. (Тут себя проявляют те самые «animal spirits», о которых вспоминал для описания таких ситуаций Кейнс.

Такая метода частенько ведет к позору и провалу, но бывает, и к триумфам, которых не достичь было бы при торжестве холодной рассудочности. Да и сами деньги – прежде всего, в головах, психологический феномен.

Наглядная иллюстрация – фетишистская вера человечества в золото. Александр Македонский преуспел как великий завоеватель не только потому, что был отважным и стратегически мыслящим военачальником и сильным менеджером. Но прежде всего благодаря тому, что ему удалось быстро завладеть большими запасами золота. Что, в свою очередь, позволило ему экипировать большую армию, хорошо платить наемникам и так далее. Но ведь ценность того золота была мифической – не поддерживаясь никакой реальной потребительской полезностью. То есть это была форма кредита, основанная на слепой вере. Кто заставлял людей свято и безоговорочно верить в золото как деньги? А никто, бог-из-машины. Это точно не из сферы рационального, скорее из области Чудесного. И без этого ЧУДА – денег и современной финансовой системы, при всех ее недостатках и иррациональности – мы до сих пор обитали бы в средних веках и в натуральном хозяйстве.

Но в таком случае мы приближаемся к весьма опасному выводу. Что экономика по природе своей *сущностно* иррациональна. Но столь же очевидно, что в этом безумии, в этой иррациональности есть система, которую мы не умеем вычислить. А не умеем потому, что не можем вычислить свою собственную природу. Ведь экономика, судя по всему – лишь ее отражение.

***Андрей Остальский**, писатель, журналист и публицист, двадцать три года живет в Англии. Восемь с лишним лет он работал Главным редактором Русской Службы Би-би-си в Лондоне (2001-2009), а общий его «стаж» на Би-би-си приближается к 16 годам. До этого он успел потрудиться сначала в перестроечных либеральных «Известиях», а затем в английской финансовой газете «Файнэншл таймс».*

Андрей – автор нескольких научно-популярных и художественных книг. В 2012 издательство «Амфора» выпустила документальный роман Остальского «Англия: Иностранец Ее Величества». В 2015 году серия была продолжена книгой «Иностранец на Мадейре». Хорошо были встречены критикой и шесть опубликованных в России романов – в том числе «Английские правила» и «Боги Багдада» («Время»), «Жена нелегала» («Амфора», второе издание - ЭКСМО). Отрывки из романа «КонтрЭволюция» и антиутопии «Синдром Л» первыми прочли читатели «Времени и места».

Книга «Спаситель капитализма» появилась на свет благодаря гранту благотворительного фонда «Династия», чрезвычайно много сделавшего для поддержки российских ученых и популяризации научных знаний. Однако в прошлом году российские власти фактически уничтожили фонд, объявив его «иностранным агентом», несмотря на то, что он целиком финансировался за счет личных средства живущего в России Дмитрия Борисовича Зимина.

Читатели «Времени и места» первыми могут познакомиться с фрагментами книги о великом экономисте Джоне Мейнарде Кейнсе.

ЯКОВ ФРЕЙДИН

ШПИОНСКИЕ СТРАСТИ

Среди номинировавшихся в 2016-м фильмов на «Оскара» – «Мост шпионов» (Bridge of spies), снятый Стивеном Спилбергом об обмене более 50 лет назад советского шпиона Рудольфа Абеля на американского пилота Гэри Пауэрса.

Хорошее кино, добротно сделанное и аккуратное даже в мелочах. У меня к этой теме личный интерес, ибо по вывиху судьбы мне довелось видеть Пауэрса в самые первые часы после его драматического приземления в СССР в 1960 году. Эту историю я описал в главе своей книги «Adventures of an Inventor» , вышедшей в Америке 20 лет назад. Ниже – кое-где сокращённый, а в чём-то дополненный перевод этой главы.

...Когда я был подростком, у меня была одна всецело захватившая меня страсть – хотел делать кино. Всё равно, как – оператором, режиссёром, монтажёром – в любом качестве, лишь бы делать кино! Когда мне было 12 лет я сконструировал и построил 16-мм кинокамеру, ибо в те годы камеры в СССР не продавались, хотя катушки с плёнкой можно было купить. Камера была конвертируемая, то есть я мог её быстро превратить в кинопроектор. Сам снимал, сам проявлял, сам монтировал и сам крутил свои фильмы. Я проглатывал все доступные книги по производству кинофильмов – от написания сценариев до постройки декораций, до грима, до монтажа и химии проявки киноплёнки. Позже я стал членом нескольких любительских киностудий и довольно профессионально мог работать с любыми доступными кинокамерами и вообще делать множество вещей, связанных с кино.

Я учился в 9-м классе в уральском городе Свердловске и из дома пешком ходил в школу мимо помпезного Дома офицеров и штаба Уральского Военного Округа.

Однажды холодным зимним вечером я возвращался домой и на доске объявлений у Дома офицеров увидел плакат: «Открыта любительская киностудия – приглашаются все желающие». Этого я пропустить не мог. Хотя Дом офицеров был особым учреждением, его могли посещать все – военные и штатские. Там проходили интересные концерты, вечера танцев, была прекрасная библиотека старых книг и журналов из соцстран. Клуб располагался в красивом здании старой постройки, с высоким шпилем. В холле были мраморные полы, широкие лестницы, устланные ковровыми дорожками, хрустальные люстры сверкали радужными зайчиками, а стены украшали картины, славящие истинных и вымышленных героев Красной Армии.

Я зашёл в вестибюль и спросил у дежурившего у входа солдата, где тут любительская киностудия? Он сказал, что это на самом верху, в конце коридора, куда я и побежал. На двери висела табличка «Киностудия», я открыл дверь и вошёл.

В просторной комнате по стенам стояли шкафы, полки с кино- и фотооборудованием, монтажные столы, могучие киноштативы с шаровыми головками, на дальней стене висел большой белый экран. В центре возвышалась колонна, как в греческом храме. На колонне была надпись «Не курить», а под ней плакат, изображавший толстого розового поросёнка в офицерской фуражке с сигаретой в зубах. Поросёнок говорил «А я всё равно курю!». Под плакатом стояло кресло, на котором, как на троне, восседал коренастый мужичок с бритой головой, лет 50-ти, в шитой украинской рубахе и с папиросой в зубах. Мужичок был разительно похож на карикатурного

поросёнка, а дымящийся «Беломор» намекал на его независимый характер. Он спросил:

– Тебе что тут надо?

– Пришёл по объявлению. Хочу записаться в вашу студию.

– Вона как! – хмыкнул поросёнок, – а сколько тебе лет, интересно знать?

– Будет 15. Там написано – все желающие. Вот я и есть эти все.

– Ну ладно, – сказал он, – меня зовут подполковник Григорий Павлович Бойко, я командир этой студии. А ты вообще, что-то умеешь? Фотографировать, например?

– Я всё в кино умею. Могу показать…

– Ишь ты! Всё он умеет! Это мы сейчас проверим, – насмешливо сказал он. – Вон в углу на треноге стоит кинопроектор. Возьми на столе бобину. Заряди-ка плёнку в проектор. С закрытыми глазами.

Это было легкое задание, я взял бобину с 35-мм фильмом, закрыл глаза и для убедительности голову в сторону повернул. Всё было готово за 15 секунд. Подполковник удивлённо хмыкнул и сказал уже мягче:

– Недурно. Ну а кассету для «Конваса» в мешке можешь зарядить?

«Конвас» была ручная 35-мм камера, разработанная Константином Васильевым – отсюда и название. Кряхтя, Бойко поднялся с трона, достал из шкафа кассету, ролик засвеченной плёнки и чёрный мешок. Я ловко зарядил кассету, вынул её из мешка и протянул. Он был впечатлён:

– Да ты, пацан, действительно кое-что можешь. Так и быть, я тебя возьму пока, а там посмотрим. Приходи сюда после школы, я тут тебя кое к каким делам приспособлю.

С тех пор мой день стал весьма уплотненным: после школы я бежал домой, обедал, делал уроки и мчался в Дом офицеров. Совсем скоро я стал для Бойко

незаменимым помощником: заряжал кассеты, монтировал ежемесячные ролики киноновостей военного округа, часто снимал всякие сюжеты.Впрочем, если надо было снимать в воинских частях, туда меня не пускали. Бойко либо ехал снимать сам, либо посылал одного из офицеров штаба в чине капитана, который иногда посещал студию. Проявку и монтаж негатива, печать и озвучивание мы заказывали в гражданской киностудии. Я был страшно рад работать с профессиональным кинооборудованием. Много было трофейного со времён войны, но немецкого мало. В основном либо американского, либо французского производства – всё в отличном состоянии.

Подполковник Бойко радовался – был он ленив и часто навеселе, так что мой пыл пришёлся ему очень кстати.

В последний день апреля 1960 года он сказал:

– Завтра утром поедем снимать первомайский парад. Приготовь камеру, кассеты, короче – всё, что надо. Будь в студии к 6 утра. Машину за нами пришлют, пропуска для нас будут у шофёра. Гляди, не проспи.

Ровно к шести утра я был в студии (открыл дверь своим ключом). Вскоре пришёл шофёр и помог мне загрузить в газик кофр с кассетами, штатив и «Конвас» с батареями. Но Бойко не появился. Прождав его до семи, я решился позвонить к нему домой. Телефон долго не отвечал, но потом сварливый женский голос спросил: «Алё, кого надо?»

Это была его жена. Я назвал себя и сказал, что нам срочно надо ехать на площадь снимать парад. Она велела подождать и вскоре я услыхал заплетающийся голос Григория Павловича. Было ясно, что 1 Мая он начал праздновать загодя и был уже в совершенно глянцевом состоянии. Он прошепелявил:

– Я вот что… болею. Понял? Болею я…. Ты давай сам… того. Ехай… сымай… Сам.

Я повесил трубку, сказал шофёру, что подполковник болен, и мы помчались на центральную площадь имени 1905 года. Улицы при подъезде были оцеплены, нас часто останавливали и проверяли пропуска. Наконец мы добрались, выгрузили оборудование у трибуны и газик уехал. В 9 утра на трибуну забрались местные партийные вожди и военное начальство округа. Начался парад. По брусчатке катили пушки, танки и огромные пузатые ракеты. Равнозначно пузатые вожди на трибуне делали ракетам ручкой, всё шло как по маслу. Кроме меня на площади работали несколько фотографов из местных газет и один кинооператор с телевидения. В те годы телевидение прямых трансляций ещё не вело.

Я быстро снял всё, что мне было надо для ролика новостей, и скучал, притопывая на холодном ветру. Весна на Урал только-только вкатывалась, и было весьма зябко. Солнце с трудом протискивалось через прорехи в облаках и совсем не грело. Шофёр должен был меня забрать только после гражданской демонстрации, так что мне предстояло топтаться у трибуны ещё долго.

Часов около 10 я заметил, что несколько генералов и партийных начальников с трибуны исчезли. Примёрзли, наверное, и пошли водку с икрой потреблять, подумал я. А ещё заметил, что по площади бегает капитан с погонами военной авиации. Сначала он подошёл к телевизионному оператору, потом направился ко мне.

– Ты, парень, не из студии Дома офицеров?

– Да... А что?

– Где подполковник Бойко?

– Болен он. Дома. Я тут вместо него снимаю.

Капитал смачно выругался и куда-то убежал, но быстро вернулся назад и спросил:

– Поедешь со мной. Срочное дело. Можешь снимать в помещении?

– Могу, только хорошо бы светильники и плёнку почувствительнее, единиц 400. А где надо снимать?

– Там увидишь. Я доложу, чтоб плёнку и светильники тебе доставили. Поехали.

Он помог мне собрать оборудование, мы погрузили всё в подъехавшую прямо к трибуне легковую машину с матовыми стёклами. Ехали недолго и быстро, видимо, у этой машины были какие-то специальные знаки, так как нас ни разу не остановили. Машина подъехала прямо к главному входу штаба Военного Округа. Капитан помахал кому-то, к нам подбежали несколько солдат из охраны и быстро потащили мои киношные штуки на второй этаж. Внесли всё в просторный зал с огромным столом из красного дерева, кремовыми, с оборками, шторами на окнах и двумя портретами на стене –Хрущёва и маршала Малиновского, министра обороны. Другие солдаты внесли большой студийный магнитофон и два микрофона, которые установили на краю стола. Капитан сказал:

– Располагайся с камерой вот тут, у окна, и снимай, что будет здесь происходить. Всё, что ты просил, сейчас доставят.

Я установил «Конвас» на треноге, подключил батарею и стал ждать.

Вскоре дверь открылась, два солдата внесли в комнату софиты и кофр, а за ними появился Бойко с зелёным опухшим лицом и в военной форме. Он нетвёрдой походкой подошёл ко мне и прохрипел:

– Я тебе принес много плёнки, должно хватить на час. Софиты вон тоже. Так что давай, заряжай, снимай, что надо. Я, сам видишь, не в форме, – пошутил он, поправляя на себе китель.

Я установил софиты около края стола, где стояли микрофоны, подключил провода к розеткам, достал банки с плёнкой из кофра и стал заряжать кассеты в черном мешке. Когда всё было готово, я показал солдатам, как включать софиты по моей команде. Стали ждать.

Ждали недолго. Дверь настежь распахнулась, и в комнату вошли несколько офицеров, два или три генерала

и человек пять в штатском. Вслед за ними двое охранников ввели невысокого смуглого человека в странной форме: он был одет в коричнево-серый комбинезон, а в руках нёс белый шлем, как у космонавта из популярных журнальных иллюстраций. Всего два года назад запустили первый спутник земли, и ребята моего возраста бредили космосом, так что неудивительно, что я принял этого человека за космонавта. Я махнул солдатам, те включили свет и я нажал на кнопку камеры.

Генерал сказал:

– Пусть шлем наденет, чтоб видно было, кто таков.

Человек в комбинезоне не понял, но когда один из штатских ему что-то шепнул, он надел на себя шлем с болтающимся шлангом и все расступились, чтоб я мог лучше снять эту процедуру. Потом генерал кивнул, все направились к столу. С человека в комбинезоне сняли шлем и велели садиться перед микрофоном. Генерал уселся напротив и задал вопрос:

– Имя, фамилия, звание, войсковая часть, цель прилёта на нашу территорию?

Тот опять не понял, и опять человек в штатском ему что-то сказал. Я сообразил, что это переводчик, и говорил он по-английски. «Космонавт» что-то ответил, и переводчик назвал его имя, которое я тогда не расслышал, и ещё перевёл:

– У меня была авария с приборами для навигации. Я случайно залетел на вашу территорию.

– Не врите! – театрально крикнул генерал, хлопнув ладонью по столу, поглядывая в объектив моей камеры. – Мы три часа вели вас от самой границы и сбили первой же ракетой!

Тут до меня дошло, что это никакой не космонавт, а, похоже, американский военный пилот, залетевший на советскую территорию. Допрос продолжался недолго, ещё минут 15-20. Я мало что слышал, так как был занят съёмкой и руководил солдатами, чтоб поворачивали

софиты в нужном направлении. Пилот вёл себя очень сдержанно, почти ничего кроме «да» и «нет» не говорил, чем немало раздражал генерала, который явно с показным видом выходил из себя. Потом все встали из-за стола, конвойные увели американца, мы выключили свет и ко мне подошёл тот самый капитан:

– Всё сняли? Нормально! Давайте сюда всю плёнку. Мы сами проявим, так что спасибо, от вас больше ничего не требуется. Собирайте свои штуки, я вас провожу к машине. И ещё вот что – роток на замок, не болтать...

Мы с Бойко отдали ему все кассеты, сложили оборудование и отправились по домам. Я полагал, что на этом дело и закончилось. Однако, когда сразу после праздников я пришёл в студию, Бойко указал на банки с проявленной плёнкой и сказал, что тут всё и даже больше, и велел срочно монтировать киноновости для Военного Округа. Чем я и занялся. А на следующий день он взял меня с собой за город в деревню Поварня по Сибирскому тракту, чтоб заснять, как сотни солдат прочёсывали поля и кустарники в поисках малейших обломков самолёта-разведчика. Всё сваливали в огромную кучу посреди поля. Несмотря на падение с большой высоты, многое сохранилось, в том числе огромные фотокамеры и кассеты с плёнкой. Мы это всё сняли, и я смонтировал довольно интересный ролик для военных новостей.

Благодарный Бойко подарил мне на память небольшой серо-чёрный обломок самолёта У-2, который потом много лет стоял на моём письменном столе в Свердловске. Я сохранил много срезок с отснятых негативов себе на память и потом показывал напечатанные с них снимки друзьям по школе. К сожалению, когда 17 лет спустя я эмигрировал из СССР, было слишком рискованно везти эти кадры через границу и пришлось всё оставить.

...Прошло 7 лет. Я заканчивал радиофакультет политехнического института, где на военной кафедре мы изучали все малейшие детали станции наведения ракет СНР-75М, вариант которой стрелял по У-2 Пауэрса. По очередному вывиху судьбы в июне 1967 года я был направлен на военные сборы в тот самый ракетный дивизион майора Воронова, ракета которого сбила Пауэрса. Сам Воронов, разумеется там уже не служил, но в «ленинской комнате» был стенд, посвящённый первому и последнему боевому запуску ракет. На стенде было несколько снимков, напечатанных с моих кинокадров, и портрет погибшего пилота МИГ-19 Сафронова. В дивизионе всё ещё служили несколько офицеров, которые участвовали в стрельбе по У-2. Они рассказали нам некоторые подробности.

Американский самолёт-разведчик Локхид У-2 вылетел из Пешавара в Пакистане в направлении к Норвегии, чтоб заснять на плёнку секретные советские установки, в том числе полигон Капустин Яр. Пауэрс и его коллеги летали так над СССР с 1956 года, но на высоте около 23 км сбить их у советских не было никакой возможности, а потому ограничивались дипломатическими нотами. Боялись даже пытаться – если не получится, будет Америке сигнал, что советская ПВО слаба. Потому и терпели. Но к началу 1960 г. ракету С-75 земля-воздух модернизировали для больших высот, и когда Хрущёву, стоявшему на мавзолее во время первомайского парада, доложили, что У-2 опять летит, он приказал маршалу Бирюзову: сбивать. Выпустили не то 5, не то 7, не то даже 14 ракет, но ни одна достить такую высоту не смогла. Однако повезло – обычно ракета, не достигшая цели, самоуничтожается, и самая первая ракета взорвалась на недолёте, создав сильную ударную волну. Самолёты У-2 летали высоко и быстро, но были очень непрочными. Ударной волной самолёт так тряхануло, что поломало хвост и всё полетело вниз на деревню Поварня.

Конструкция была такой облегчённой, что там не было даже катапульты, поэтому Гарри Пауэрс кое-как выбрался из кабины и с трудом смог оторваться от разваливающегося самолёта. Спустился он на парашюте у деревни Коптяки, где его повязали колхозники и передали кагэбэшникам, которые и доставили его прямиком в штаб Округа.

Генералы из уральского ПВО сильно нервничали – вдруг не собьют, а потому для подстраховки пустили самолёты-перехватчики МИГ-19, но ни один на высоту, где летел У-2, не забрался. Из-за традиционного российского бардака вовремя не поменяли коды в системе распознавания «свой-чужой», одна из ракет приняла свой МИГ за неприятеля и сбила. Лётчик Сафронов спустился на парашюте, но погиб от ран у деревни Дегтярка.

Что касается Пауэрса, то он на допросах повёл себя довольно умно – не отпирался от очевидных вещей, но и секретов никаких не выдал, прикинувшись эдаким чурбаном, который умеет ловко кнопки нажимать, но в деталях не силён. Публично повинился и попросил прощения, за что ему дали сравнительно мягкий срок – 10 лет, из которых 3 года в тюрьме, а затем 7 лет лагеря. Но через два года его обменяли на Абеля, чему и посвящен фильм Спилберга.

Прошло ещё десять лет, и мне удалось по израильской визе навсегда покинуть СССР. В Вене я некоторое время работал консультантом в ЦРУ. Однажды, было это 1 августа 1977 года, беседуя с «начальником мюнхенской станции ЦРУ» (по-русски – резидентом), я ему рассказал, как мне довелось снимать Пауэрса 17 лет назад. Он засмеялся и сказал, что в те самые дни сам был по другую сторону «баррикад» – в середине мая 1960 г. он сопровождал президента Эйзенхауэра в Париж для встречи с Хрущёвым. Никита приехал и потребовал, чтобы президент публично извинился за полёт У-2. Эйзенхауэр

отказался, и разъяренный Никита, несмотря на увещевания де Голля, раскричался и улетел домой.

Резидент рассказал мне, что после возвращения Пауэрса в США к нему относились очень плохо. ЦРУ не могло ему простить, что он не покончил с собой (у него была игла с цианистым калием). Потом его всё же устроили в фирму Локхид, где он несколько лет работал лётчиком-испытателем, хотя зарплату ему секретно платило ЦРУ.

Резидент спросил, не хотел бы я, когда окажусь в Америке, встретиться с Гэри? – он был с ним лично знаком и готов организовать нашу встречу. Я с радостью согласился. Однако, когда снова встретился через два дня с «начальником станции», он сумрачно сказал:

– У меня для вас плохая новость. Позавчера Гэри погиб в Калифорнии при крушении вертолёта.

***

В годы холодной войны обе стороны шпионили друг за другом весьма активно. Поэтому здесь уместно кратко рассказать о Рудольфе Абеле, которого обменяли на Пауэрса в феврале 1962 года. С историей его ареста в США много тёмного, и правда, вероятно, станет известна не скоро. Его настоящее имя было Вильям Генрихович Фишер. Был он человеком незаурядных талантов – прекрасно знал радиотехнику, фотографию, писал маслом картины (написал в тюрьме портрет Кеннеди, который, став президентом, повесил этот портрет в овальном офисе). Фишер в совершенстве владел русским, английским, немецким, польским и идишем, причём по-английски мог говорить с шотландским, оксфордским, ирландским и бруклинским акцентами. Во время войны руководил радиоиграми против немецкой разведки, а в 1948 г. был нелегально направлен в США для «ремонта» советской шпионской сети. После сентября 1945-го в результате побега советского шифровальщика в Оттаве

Игоря Гузенко пошли провалы и аресты советских агентов. Атомный шпионаж фактически пришлось свернуть, поэтому-то Фишер и был направлен в Америку поправлять дело. Однако неясно – чем же он действительно занимался в Америке до своего ареста в 1957 году? На вопрос своего друга, уже после возвращения в Москву, он кратко сказал: «Я проверял Орлова». Что это могло значить?

Александр Орлов (Лейба Фельдбин) был резидентом НКВД в Испании во время гражданской войны 1936-39 годов. Он лично знал многих советских агентов в Европе и Америке и дружил с Фишером и настоящим Рудольфом Абелем, тоже разведчиком НКВД. Когда в июле 1938 года он получил приказ возвращаться в Москву, хитрый Орлов прекрасно понял, что его там ждёт пуля. Потому с женой и дочкой он удрал из Испании в Америку. В США он так законспирировался, что дожил до старости и умер своей смертью в 1973 году – редкая удача для таких как он. Советский Центр был в полной неизвестности – выдал ли он кого нибудь, или до конца остался верным коммунистом? Знать это стало особенно важно после провала атомного шпионажа – надо было активировать в США старых агентов, но засветил ли их Орлов? Как это проверить? Одна правдоподобная гипотеза такова.

Фишер, живший в то время в Бруклине под именем Эмиля Гольдфуса, фотографа по профессии, получил приказ попасться. Для этого ему прислали из Москвы радиста Рейно Хейханена. Зачем ему был нужен радист? Фишер сам был лучшим радистом всей советской разведки! Хейханен «неожиданно» стал перебежчиком и выдал Фишера американцам.

Мой давнишний знакомый Маршалл Лейбовиц в 1957 году жил в бруклинской квартире напротив студии Фишера за номером 505 в доме 252 на Фултон стрит и был с ним по-соседски знаком. Из его квартиры ФБР установило за Гольдфусом круглосуточное наблюдение. Маршалл рассказывал, что Гольдфус стал вести себя

весьма странно, по крайней мере для профессионального разведчика: через его окно в квартире была видна коротковолновая радиоаппаратура (зачем она фотографу и художнику?), а по улицам он вообще стал гулять в странной шляпе с белой лентой. Его за версту было видать (чтоб слежка из вида не упустила?) – в этой шляпе его и арестовали. После ареста он назвался Рудольфом Абелем – в этом и был весь трюк: если бы Орлов выдал советскую шпионскую сеть, американцы прекрасно бы знали, кто есть Абель и кто есть Фишер. Но не знали и никогда не узнали, стало быть, Орлов никого не выдал и старых агентов можно было вернуть в строй.

Абель просидел в тюрьме 4 года и после обмена на Пауэрса вернулся в Москву, где его быстро отправили на пенсию и он доживал свои дни, выращивая цветы на подмосковной даче

Яков Фрейдин *родился в 1945 г. В СССР специализировался в медицинской электронике и биокибернетике. Проводил эксперименты по парапсихологии с Розой Кулешовой и Вольфом Мессингом. Одновременно делал короткометражные телефильмы, писал статьи в местной печати и был капитаном Свердловской команды КВН.*

В 1977 г. эмигрировал в США, где работал в университетах и в ряде американских компаний. Автор более 90 научных статей и популярного учебника Handbook of Modern Sensors. Автор 60 изобретений, среди которых такие широко известные, как домашний аппарат для измерения артериального давления, выключатель света с датчиком движений и медицинский термометр для уха.

Написал книгу воспоминаний (по-английски). Его картины выставлялись в музеях Сан-Диего, где он живет.

БОРИС РУМЕР, МИХАИЛ РУМЕР

КВАРТИРА НА АБЕЛЬМАНОВКЕ

...Нет-нет память возвращает в период моей работы в «Вечерней Москве» – в то время самой популярной московской газете. 27 лет было отдано этому изданию – многие сотни статей, это не вычеркнешь.

В двух своих романах, увидевших свет в России, когда я уже жил в Америке, вспоминал эпизоды, связанные с тогдашним главным редактором «Вечерки» – Семеном Давыдовичем Индурским. Естественно, изложение эпизодов шло в художественном ключе, но в основе лежали реальные факты. Из песни слов не выкинешь – был тогдашний мой шеф далеко не агнец, недаром мы промеж себя называли его «комиссаром собственной безопасности». А еще ходили глумливые стишки: «И соловьи умолкнут курские, когда редакторы Индурские...” Еврейские фамилии, бывало, вычеркивал с полос, чтобы не было «перебора». Когда умер великий физик Ландау и в нашей газете слово прощания (блистательное по мыслям и форме изложения!) написал его друг и соавтор Евгений Лифшиц, на гранках я увидел резолюцию Главного: «Нельзя ли выбрать более благозвучную фамилию?»

Тем не менее, именно Индурский взял меня, еврея, на работу в штат. Лет семь-восемь приглядывался, присматривался ко мне, определял внутри себя, что я за птица такая, и поверив в меня как в журналиста и человека, стал относиться весьма благожелательно. Уже находясь на смертном одре, за пару недель до ***ухода****, он в разговоре с одной нашей влиятельной сотрудницей сказал: «Перед одним человеком я виноват – перед Гаем. Обещал дать ему звание Заслуженного работника культуры и не успел...»*

Семен Давыдович, бесспорно, был незаурядной личностью, крепким редактором, верным своим словам и обещаниям, но жил он в советскую эпоху и прекрасно знал отношение власти к евреям. Вот и приходилось лавировать...

Я попытался отобразить двойственность его поступков в упомянутых эпизодах романов, не осуждая и не оправдывая – что было, то было. Но, возможно, где-то ***перетонил****, недаром некоторые старики-вечерочники на меня обиделись за нарисованный портрет Индурского. И впрямь, кто бы на его месте вел себя по-иному?*

Это была одна сторона правды. О другой я тогда, когда писал, не догадывался, попросту не знал ее, другую правду. А узнал сравнительно недавно, прочитав очерк братьев Бориса и Михаила Румеров, опубликованный в книге воспоминаний в связи со 100-летием Индурского. Некоторые подробности поведал мне живущий в Нью-Йорке бывший вечерочник Герман Бройдо. Именно он сагитировал, если так можно выразиться, жителя Бостона, известного экономиста и публициста Бориса Румера вспомнить историю, совершенно по-номому рисующую облик моего будущего шефа. А Миша Румер, яркий журналист и писатель, живущий в Германии, член редколлегии журнала «Время и место», присоединился к брату и стал соавтором публикации.

...Это мое предуведомление имеет целью напомнить о жестоком, беспощадном времени, в котором мы жили. Тем выше ценится мужество каждого отдельного маленького человека, бессильного перед Молохом сталинизма и пересиливающего извечный страх, совершая поступки, которыми могут гордиться его дети и внуки. Кстати, внук Индурского Дмитрий живет и работает в США...

Давид Гай

На востоке Москвы, где когда-то проходил Камер-Коллежский вал, еще в начале XIX века очерчивавший городские границы, в двадцатые годы прошлого века на тогдашней окраине города, у Абельмановской заставы построили с десяток многоквартирных четырехэтажных домов. Это был небольшой поселок, от которого дальше к городским бойням шли улицы и переулки деревянного двух- и одноэтажья с дурно пахнущими от сараев-уборных дворами. Поселок в просторечье называли «новые дома». Квартиры в них обладали немалым для того времени уровнем комфорта – центральным отоплением, газом, канализацией и водопроводом. Селили туда разный народ – рабочих, инженеров, мелкий чиновный люд. Жили в каждой квартире чаще всего по две семьи в отличие от коммуналок центра, где в бывших барских многокомнатных квартирах обитало по десятку семей. В окрестных дворах царили воровство, жестокие драки, безотцовщина. Отцы наших сверстников воевали, сидели, и «черный ворон» – тюремный автомобиль – был частым гостем в «новых домах».

Мы – родители и трое детей – жили в двух комнатах, полученных в начале тридцатых годов матерью (она работала одно время секретарем в каком-то солидном учреждении, кажется, в «Мосэнерго»), а не отцом – преуспевающим журналистом. Когда же отцу лет семь спустя, незадолго перед арестом, предложили трехкомнатную ведомственную квартиру на улице Правды (он был членом редколлегии «Комсомолки»), мать решительно отказалась туда переезжать, проявив незаурядное политическое чутье. «Тебя посадят, – сказала она отцу, и меня с детьми выкинут из этой квартиры. А так я у себя». И оказалась права, его вскоре посадили, а нас, хотя и были мы семьей «врага народа», не тронули, оставили на Абельмановке. Третья комната в квартире, похоже, была в ведении хозяйственного управления Московского обкома партии, и в ней постоянно селили

людей, так или иначе причастных к этой системе. В конце тридцатых в ней жил с семьей Дмитрий Емельянов, работавший то ли в заводской многотиражке, то ли уже в газете «Московский большевик».

Вскоре после ареста отца Емельянов получил отдельную квартиру и съехал от нас. А в комнату вселилась семья Индурских.

Семен же (тогда еще мало кто называл его по имени отчеству – Семен Давыдович) к своим 27-и годам успел послужить в армии, потрудиться в районных газетах Московской области и теперь работал в «Московском большевике», где некогда начинал курьером. Это было легендой здания на Чистых прудах, где в шестидесятые годы располагались московские газеты: редактор «Вечерки», начинавший здесь курьером. Но младший из нас двоих, работая в те годы в «Московской правде», помнил, как редакционная курьерша тетя Нюша, разносившая по отделам полосы, шаркая старческими ногами, встречая Индурского на лестнице, называла его Сенечкой: «Я ж его мальчишкой помню».

Впрочем, курьерское начало биографии, связанное с Индурским, проявляется в судьбах разных весьма известных в нынешнее время людей. «Я ж начинал курьером в «Вечерке» при Индурском», – говорит телеведущий Лев Новоженов. «Представьте себе, я был в юности курьером у Индурского», – рассказывает советник президента России Михаил Федотов. Может, это так надо было – начинать курьером в «Вечерке», чтобы сделать карьеру в соответствии с классической американской легендой о мальчишке-газетчике, ставшем миллионером? Но вернемся к предвоенным временам.

Семен работал в военном отделе «Московского большевика», который в 41-м стал прифронтовой газетой. Дома почти не бывал, жил в редакции, как тогда говорили, на казарменном положении.

Комната часто стояла пустая. Ключ Семен оставлял нам, не возражая против наших мальчишеских визитов и пользования книгами, которыми был набит шкаф. Как он помнится, этот шкаф, и просторная тахта рядом с ним, на которой так сладко читался Диккенс (великолепное довоенное издание), Гоголь!

Этот ключ сыграл спасительную роль в истории нашей семьи. Сразу же после войны отец, отсидев первый срок на Колыме, возвращался, как там говорили, на материк. В Москве ему не то чтобы жить, но даже и появляться было нельзя – «поражение в правах». Осесть разрешалось в каком-нибудь небольшом и уж конечно не в столичном городе. Но не соблазниться возможностью повидаться с женой, с выросшими за девять лет его отсутствия детьми было невозможно. И он появляется на Абельмановке, наслаждаясь общением с нами, не выходя из дома, понимая, что счастье наше незаконно, оно украдено у властей, но оттого ощущается еще острее. Пребывание отца в Москве грозит ему не просто высылкой, чего доброго, и новый лагерный срок могут навесить. Индурский же, уходя на работу, каждое утро оставляет нам ключ от своей комнаты – на всякий случай. Понимал ли он, какой это мог быть случай? Конечно, понимал, нравы и законы этой власти не мог не знать.

Резкий звонок в дверь раздался днем. Мать, работавшая истопником, была в котельной. Старший из нас, Борис, тогда шестнадцатилетний, уверенный, что это соседка с нижнего этажа – она всегда звонила так резко, пошел открывать. Одновременно с лязгом замка раздался тихий звук другого осторожно закрываемого английского замка. Отец предусмотрительно вошел в комнату соседа. В тот же миг сына буквально отбросило к стене распахнувшейся дверью, и в переднюю быстро вошли в сопровождении испуганной управдомши двое мужиков в сапогах и синих пальто.

– Где отец?

– На Колыме.

– Знаем, на какой он Колыме.

Прошли в комнаты, раскрыли створки шкафа, заглянули под кровать. В сомнении остановились у соседской двери.

– А здесь кто живет?

– Журналист из «Московского большевика», – пролепетала управдомша.

– Журналист... – проворчал один. – Знаем мы этих журналистов.

Отец стоял за дверью, затаив дыхание. Ключ, торчавший с внутренней стороны, не был вынут. Оперативники недовольно потоптались в прихожей, но дверь ломать не решились. Ушли, грохоча сапогами. Ночью нас выслали в дозор. Отец вышел в надвинутой на лоб кепке. Его переправили к друзьям, и больше он уже не появлялся на Абельмановке до самой своей реабилитации.

Мы все помним эту историю, она осталась в анналах семьи, разбросанной нынче по континентам. И если есть у Семена Индурского грехи (а у кого их нет?), пусть они простятся ему на том свете за этот спасший нас ключ. У нас троих (нас двое и сестра) есть основания быть ему благодарными. В самые тяжелые годы он проявлял себя по отношению к нам, семье врага народа, безукоризненно, как абсолютно порядочный человек. Это факт.

Семья Индурского выглядела счастливой. Тон задавала его жена Оля – так просто она просила себя называть. Росла прелестная маленькая дочка. Ходили в гости и сами принимали у себя людей, не пропускали театральные премьеры, знались с актерами, писателями, известными спортсменами. Помнится приход в нашу квартиру нападающего московского «Динамо» Василия Трофимова (Семен дружил с ним), ребята со всего двора выстроились у нашего подъезда, чтобы взглянуть на знаменитого Василька. Каждый год Индурские ездили

отдыхать на юг, после чего Семен обязательно оставлял на нашем кухонном столе корзинку с привезенными фруктами. Добра и внимательна была и Оля. О ней у нас тоже сохранились очень теплые воспоминания. Когда младший из нас заскучал в свои отроческие годы, не находя себя в дворовых мальчишеских играх, она, выросшая на Покровке, памятуя свое не такое уж далекое отрочество, посоветовала поехать на Кировскую, в переулок Стопани, где тогда в двух старинных барских особняках находился городской Дом пионеров с его многочисленными кружками, рассчитанными на интеллигентных мальчиков и девочек. И, более того, дала денег на трамвай, что было немаловажно в условиях нашего нищего быта. Совет пришелся впору. Литературный кружок Дома пионеров вошел в жизнь младшего, приохотил его к перу, сдружил с людьми, отношения с которыми продолжались десятки лет.

Где-то в конце сороковых или начале пятидесятых, в разгар борьбы с космополитизмом и набирающей ход антисемитской кампании, Индурского выкинули из «Московского большевика». Речь шла о какой-то чужой газетной ошибке, но повод найти было так просто, а последствия могли стать столь непредсказуемыми. Так что уход из газеты и последующее устройство рядовым редактором в издательство можно было считать еще удачным исходом. Роковую роль в его изгнании из газеты, по рассказам Семена уже в семидесятые годы, сыграл тот же Дмитрий Емельянов, который тогда был заместителем редактора газеты. Дядя Митя, как мы его называли в детстве и как его звали многие молодые провинциальные редактора, распивавшие с ним бутылку в бытность его впоследствии каким-то начальником в Союзе журналистов, был верным солдатом партии и шел в первых рядах любой проработки. Вот ведь чертова квартирка, могли мы сказать булгаковскими словами: в

одной комнате, правда в разное время, жили и проработчик и его жертва.

После смерти Сталина Индурский вернулся-таки на газетную работу – заместителем редактора «Московского комсомольца», что было не по его сорокалетнему возрасту, а вскоре перешел в «Вечерку» также заместititелем редактора и в 1966-м, после ухода Виталия Сырокомского в «Литературку», стал главным. Но этот сюжет его жизни проходил уже за пределами Абельмановки, он получил в соответствии со своим новым положением отдельную двухкомнатную квартиру в престижном районе города. Тем не менее, видеться с ним младшему из нас приходилось в шестидесятые – начале семидесятых годов в период работы в «Московской правде», которая находилась на пятом этаже газетного здания на Чистых прудах, а на шестом этаже располагалась «Вечерняя Москва». Но встречи эти проходили не столько в редакционных коридорах, сколько во время регулярных собраний городского партийного актива в Колонном зале. Там за сценой находилась большая Красная гостиная (называемая так по цвету отделки), куда по телеэкрану транслировалось все, что происходит в зале, и где сидела аппаратная горкомовская рать вместе с редакторами московских газет с членами своих редколлегий. Рядом с Индурским всегда был зав. партийным отделом Илья Пудалов – старый, тертый-перетертый в аппаратных делах. Да и сам Семен был искушен в этих играх более чем достаточно. Долгая и трудная газетная жизнь, «опыт – сын ошибок трудных» научили его осторожности и уменью обращаться с властью предержащей. Однако в разговорах с младшим из нас (а время поболтать в Красной гостиной было) он отмякал, охотно вспоминал Абельмановку, наше детство, но порой и по-своему опекал, учил правилам поведения. Как-то, когда младший, соскучившись ровным течением доклада Гришина, начал читать газету, к нему подсел Илья Пудалов: «Тебе велено передать, что, когда

первый секретарь выступает с докладом, газету читать не стоит». Подумалось, кто ж это такой заботливый? И тут же заметным стал укоризненный и твердо-упорный взгляд Индурского. Знал, знал Семен Давыдович, что можно и чего нельзя делать в Красной гостиной!

Но при всей своей осторожности евреев в газету брал. Может быть, не так густо, как Балаженко, которому, конечно, можно было предъявить обвинение в неправильном подборе кадров. У него, правда, имелось объяснение своей юдофилии: «Если русский у меня способный появляется, его вскоре в центральную газету переманят – откуда ж им кадры брать? А евреи остаются...» В результате создавался образ все уплотняющегося еврейского чернозема, так что один мой остроязыкий товарищ, идя по коридору «Московской правды» и рассматривая таблички с фамилиями заведующих отделами на дверях, заметил: «Да у вас тут просто какое-то еврейское кладбище – Лимбергер, Резников, Румер...» Но Индурскому в силу его собственного еврейского происхождения было труднее, тут обвинения могли быть посерьезнее. Тем более, что чернозем этот уплотнялся и до него. В редакции имелось немало евреев, работавших там с незапамятных времен, как, например, тот же Пудалов. И все же брал. Взял Бориса Винокура, взял Давида Гая, одного из лучших перьев перестроечной «Вечерки» и всей перестроечной советской журналистики (ныне он в Нью-Йорке, где написал несколько отличных романов, изданных в России и США).

Пожалуй, здесь имеет смысл заканчивать наш короткий мемуар. Многие люди помнят Семена Давыдовича Индурского, связывают с ним свою жизнь и то время – противоречивое, сложное время, в которое мы жили. А мы еще вспоминаем и свое детство, и юность, символом которых стала квартира на Абельмановке, и доброе к нам отношение нашего знаменитого соседа.

Из редакционной почты

ИНТРИГУЮЩАЯ ТЕОРИЯ

Дорогая редакция!

Хотелось бы поблагодарить вас за опубликование в последнем выпуске 2015 года журнала "Время и место" статьи Марка Гинзбурга "С какой целью?"

Статья посвящена актуальной теме, горячо обсуждаемой космологами, – о месте человека в общей картине мироздания, о так называемом "антропном" принципе. Центральным является вопрос, почему мировые константы в уравнениях общей теории относительности и в теории элементарных частиц имеют такие значения, что малейшее уклонение от их величин делает невозможным появление живой материи, а, значит, и человека?

Автор знакомит нас с эволюцией космологических представлений в 20 веке с упоминанием имён А.Эйнштейна, А.Фридмана, Гамова, А.Пензиаса, Р.Вильсона, и других ключевых теоретиков и экспериментаторов, из коих широкой публике известно, пожалуй, только имя Эйнштейна. Автор умело подводит читателя к мысли, что такая "подгонка" констант в природе произошла неспроста, что Вселенная "создана" для появления в ней разума.

Приходится лишь пожалеть о том, что автор не обсуждает последние работы теоретиков, таких как Макс Тегмарк ("Наша математическая Вселенная")*, или Брайана Грина ("Скрытая реальность")**. В них развивается альтернативный взгляд на нашу вселенную как на всего лишь одну из бесчисленных вселенных, многие из которых могут иметь разумные формы существования материи. Таким образом, чрезвычайно интригующая теория об участии Творца в создании нашего мира не является единственно возможной...

Следует, однако, отметить, что великолепно написанная статья Марка Гинзбурга побуждает нас мыслить о Вселенной и пытаться проникнуть в её тайны!..

Любовь Питина
Новато, Калифорния

**Max Tegmark: "Our Mathematical Universe"*
***Brian Green: "The Fabric of the Cosmos", "The Elegant Universe" , "The Hidden Reality"*

ЮРИЙ СОЛОДКИН

НОВЫЕ ЧЕТВЕРОСТИШИЯ

Изумился изречению,
К нам пришедшему с Востока –
У плывущих по течению
Шансов нет достичь истока.

***

Воображенье ежели напрячь,
Что в атоме ядро с футбольный мяч,
Тогда на километры удалён
С горошину размером электрон.
Первоосновы мира непросты –
Чуть Вещества и бездна Пустоты.

***

Не скажу, что все, но многие
Из мужчин членистоногие.
Их просты пути-дороги,
Куда член, туда и ноги.

***

Если речь о территории,
Миль квадратных в нём немного,
Но огромен вглубь Истории
И простёрся ввысь до Бога.

***

Сады повсюду расцвели в пустыне
От Иерусалима до окраин.
Всё просто объясняется – отныне
Вернулся в этот край его Хозяин.

***

О прошлом по статьям и книгам
Мы судим, силясь вникнуть в суть.
Всё то, что было, не вернуть,
Но вывернуть, так это мигом.

***

Играют дети, а актёр,
Он не играет, как ни странно,
А так восходит на костёр,
Как будто он и есть Джордано.

***

Какая разница во времени с Москвой? –
В Ирушалаиме вопрос я задал свой.
Услышал неожиданно в ответ:
- С Москвой? Две с половиной тыщи лет!

**/*

Когда врага не иссякает злоба,
И права жить готов он нас лишить,
Есть путь один проблему с ним решить –
Ударом кулака по крышке гроба.

***

Как сводит этот мир с ума
Всесильный звон монет.
Недорасследованных тьма,
А невиновных нет.

***

Что, по-твоему, лучше –
пшеница или хлеб?
Рабби Акива

Не нами создана пшеница,
Но нам дарована судьба
До часа смертного трудиться
И печь без устали хлеба.

***

Бесконечность взглядом измерю,
Сверю с вечностью жизни срок.
От «не верю» приводит к «верю»
Этот мысленный мой урок.

***

Физику люблю. На «ты» я с ней,
Но порою мистика ясней.

***

Какие таинства таятся
В судьбе, ниспосланной Тобой?
Не знаем. И зовём судьбой
То, в чём сумели состояться.

***

Если рядом женщина, мужчине
Как сосредоточиться на Боге?
Мы по этой, думаю, причине
Молимся отдельно в синагоге.

***

За правило держу я с давних пор -
Когда с любимой возникает спор,
Я задаюсь вопросом этим здравым:
Хочу я быть счастливым или правым?
***

Число убитых с каждым разом
Всё больше по его приказам.
Кончал бы ястребом кружить

И приказал нам долго жить.

***

Нас испытало зло всерьез,
Не зная, что такое жалость.
Почти иссяк источник слез,
На смех ещё осталась малость.

***

Переживать по мелочам,
Не спать подолгу по ночам –
Что это суета сует,
От пониманья толку нет.

***

Слабеет, может быть, рука,
И чувствуется бренность плоти,
Но разум всё ещё в полёте,
И вот, пожалуйста, строка.

***

Когда вы гневом праведным полны,
То не спешите волю дать словам,
А выйдя из себя, со стороны
Взгляните на себя. И как вы вам?

Юрий Солодкин *родился в Новосибирске. Доктор наук, профессор. В США работает по специальности. Многие годы его любимое занятие – задавать интересные вопросы и искать интересные ответы, умещая и то, и другое в четыре поэтические строки. Выпустил несколько книг таких миниатюр, включая "Библейские поэмы" – на бессмертные сюжеты Ветхого Завета.*
Постоянный автор журнала "Время и место".

ИСААК ВАЙНШЕЛЬБОЙМ

ШУРКА

Посвящается Зине

Одесса литературная, Одесса жудожественная, Одесса музыкальная... Все это сложное и уникальное явление в мировой культуре мало изучено и недостаточно оценено.

Жизнь выдающегося одесского скульптора Бориса Васильевича Эдуардса (1861 – 1924 гг.), несмотря на его огромный вклад в монументальную скульптуру России, так же недостаточно изучена, а творчество удручающе недооценено. Звание академика забылось, как и триумф на выставке в Париже. После революции скульптор оказался невостребованым. В 1919 году Эдуардс покидает Россию, которую украсил множеством памятников выдающимся деятелям русской истории и культуры. В каталоге произведений Эдуардса в Одесском художественном музее сообщается, что скульптор умер в Париже. Только недавно была обнаружена его могила на острове Мальта. Его выдающееся творение в мраморе высотой 199 см. «Христос и грешница» переименовали и невыразительно нарекли «Оставьте ее» и поместили в полутемном углу под лестницей.

Эдуардс – автор конного памятника А.В. Суворову в Римнике (Румыния). Памятник Суворову в Измаиле – один из самых лучших конных памятников России. Памятники полководцу украшают также Очаков и Тульчин. Эдуардс – автор памятника графу Воронцову в Одессе, Пушкину и Гоголю в Харькове и множества других замечательных творений.

В собрании Одесского художественного музея хранятся более двадцати произведений скульптора.

***

В музейном собрании работ Эдуардса есть небольшой мраморный бюст мальчика в газетной треуголке Шурки – сына кухарки скульптора. Впервые он был представлен на академической выставке в Петербурге в 1890 году. Среди зрителей выставки распространился сочиненный кем- то незатейливый стишок:

Милая фигурка
В колпаке бумажном,
Смотрит юный Шурка
Генералом важным…

Художественное совершенство и какое-то необъяснимое обаяние и достоинство скульптуры так велико, что я перестал воспринимать мраморный бюст мальчика как произведение искусства и полюбил его такою странною любовью, название которой еще не придумано. Мои чувства разделяла жена – Зина. Наше необычное отношение к Шурке удивительно еще и потому, что мы знакомы с мировой классической скульпторой по собраниям Эрмитажа, Московских музеев, Лувра и Ватикана. Встреча с Шуркой – не первая встреча с прекрасным. Но только Шурка оказался для нас не произведением, которым можно только восхищаться.

К нему мы испытывали совершенно незнакомое, удивительное чувство, похожое на любовь. Возьмем, к примеру, скульптуру, которой гордится Одесса и восхищаются гости города, имеется в виду знаменитый Лаокоон, великолепная римская копия всемирно известной скульптурной группы «Лоокоон с сыновьями», созданной в первом веке до нашей эры величайшими эллинистами Агесандром, Полидором и Афинодором из Родоса. Подлиник мы видели в Ватикане и еще раз порадовались высоким достоинством одесской копии... Я умышленно выбрал для сравнения такой высокий образец не потому, что у Шурки нет преувеличений или условности

композиции, а потому, что он вообще не дитя искусства. Шурка – дитя любви. Когда Эдуардс лепил Шурку, ангел коснулся его крылом.

***

Но прежде чем рассказать, как возникли наши чувства к Шурке и как складывались наши с ним отношения, нужно сделать небольшое отступление.

У каждого постоянного посетителя художественных музеев есть свои наиболее близкие художники, скульпторы и любимые произведения. В ожидании встречи с любимым полотном или скульптурой есть необъяснимая тайна. Такое необычное состояние возникает, например, у меня накануне встречи с кипарисами Ван Гога в музее Метрополитен, с его же «Красными виноградниками» в Московском музее им. Пушкина или ко всему собранию в Фрик Коллекшн и с любой картиной Веермеера. Но после расставания чувство близости исчезает до следующего свидания, возникающего вновь, словно между мужчиной и красивой, но недоступной женщиной.

Между нами и Шуркой все было по-иному. Обычное расстояние между нами с каждым свиданием стало сокращаться. С каждой новой встречей мы находили в нем новые черты. Те новые черточки Шурки стали дома увлекательной темой обсуждений, словно речь шла о близком ребёнке.

Однажды мы вдруг заметили, что Шурка стал взрослеть и у него появились новые черты характера. Разделявшая нас дистянция изчезла. Он становился близок, как может быть близким только человек во плоти. Мы перестали воспринимать его мраморную прохладу. Он теплел душевно. Я начал ощущать пульсирующую в нем кровь. Со временем у него начал проявляться характер более сложный, чем у его сверстников.

Посещения Шурки стали частыми, и между нами начали создаваться какие-то усложненные взаимоотношения. Шурка стал нас узнавать. Бывал обидчив. В первые минуты встречи после длительной разлуки гасла его замечательная улыбка, даже ямочки на щеках, казалось, исчезали, а глаза покрывались туманом. Через некоторое время после такой неласковой встречи наступало примирение, и к Шурке возвращалось его обаяни. Для примирения я должен был объяснить причину столь долгого отсутствия. Он был отходчив, и между нами восстанавливалось прежнее взаимопонимание. Я, конечно обещал не пропадать. Увы, мне это не всегда удавалось, и снова наступала размолвка, а за ней примирение.

Мне казалось, что я знаю все отенки его характера. Он был лишен капризов. Зина считала, что это результат неизбалованного детства. У детей слуг не было возможностей для капризов. Я утверждал, что это врожденное качество, которое ему подарил добрый, любящий Эдуардс, когда его создавал. Только однажды мне показалось, что мальчик просится к морю, на пляж. Это желание не было капризом. Я подумал, что Шурка, как все мальчишки, выросшие у моря, хорошо плавает. Стояло жаркое лето. За стеной дворца графа Потоцкого, в котором находится художественный музей, обрыв вел к морю. В тот день оно играло всеми цветами радуги, а под косыми лучами солнца гребни невысоких волн вспыхивали голубыми искрами. Как жаль, что Шурка не видел той красоты. В компенсацию его окружали красивые картины и это утешало.

Мне случалось бывать в районе музея по делам, мои обязанности, увы, не позволяли посетить Шурку, но в большинстве случаев я помимо воли заворачивал в музей и оказывался около Шурки. Он, казадось, знал, что я тороплюсь, что визит короткий не по моей вине, и мы только обменивались взглядами.

Однажды, после посещения персональной выставки знакомого художника, мы, конечно же, заглянули к Шурке. На следующий день Зина без видимой причины вдруг сказала:

– Надо проведать Шурку.

– Мы ведь только вчера у него были.

– Мне кажется, там что-то произошло, – настаивала Зина.

Когда мы пробежали зал музея, даже не взглянув на Костанди, Дворникова, Буковецкого, и остановились около Шурки, мы его едва узнали. Лицо его выражало испуг. Когда Шурка нас увидел, он несколько оживился, а в глазах появилась надежда. Вокруг Шурки небольшая группа иностранных туристов обменивалась впечатлениями. Услышав румынскую речь, мы поняли причину его беспокойства. Во время румынской оккупации Одессы Шурка исчез, говорили, что его украли окупанты, но точно никто не знал. Шурка был всеобщим любимцем одесситов. Много потерь понес город, казалось, что и Шурка стал жертвой той страшной войны. С исчезновением Шурки музей и многие в Одессе осиротели.

После окончания войны в Румынии оставались советские военые части. Молодой советский лейтинант-одессит оказался в румынском доме, вероятно, по романтической причине. В богато обставленной квартире офицер вдруг увидел Шурку. У лейтенанта хватило выдержки скрыть волнение и не выдать свое знакомство с мальчиком. На следующий день сотрудник комендатуры изъял скульптуру. Так Шурка вернулся из неволи домой, но не забыл длительный плен.

После этого драматического эпизода Шурка стал приходить ко мне во сне. Он меня куда-то звал и торопил. Вскоре у нас созрело решение уехать в Америку. Предстояло немало грустных расставаний – с родными, Большим Фонтаном, любимой работой, музеями, с

Одессой. Явиться к Шурке с вестью о расставании не мы не могли. В очередном сновидении он что-то обещал. Вскоре сон оказался вещим.

Мы знали, что Эдуардс после большого успеха Шурки на выставке в Париже повторил скульптуру в бронзе и терракоте, но о ее судьбе ничего узнать не удалось, даже мечтать о розыске двойника не смели.

Обещание Шурки с чудом совершилось. Нам предложили его терракотовый вариант.

...Знал ли Борис Васильевич Эдуардс, что он перешагнул границу между искусством и реальной жизнью? Не знаю. Твердо верю, что история Пигмалиона и Галатеи не легенда.

Верю, что в подсознании скульптора жили реальный сын кухарки и созданный им Шурка с чарующей улыбкой. Возможно, что разлука с Шуркой ускорила кончину Эдуардса на острове Мальта.

Исаак Вайншельбойм *родился в 1922 году в Украине. Участник Великой Отечественной войны. Был командиром пехотного подразделения, инвалид войны. До иммиграции работал адвокатом в Одессе. В Америке активно сотрудничает с русскоязычными СМИ, публикует эссе, рецензии на спектакли и концерты, обзоры художественных выставок, Он автор четырех книг художественной прозы. Недавно изданная повесть «Бегство из ада», о трагедии одесских евреев во время Второй мировой войны получила положительные отзывы критики.*

Исаак Вайншельбойм с юнных лет увлекается живописью, которая стала его основным занятием в Америке. Участвовал более чем в тридцати выставках.

Автор обложки

СМЕЯТЬСЯ, ПРАВО, НЕ ГРЕШНО...

Бывший москвич Роман Генн – один из самых известных политических карикатуристов в США. Его работы уже на протяжении двух десятков лет печатаются в ведущих американских изданиях: National Review, Los Angeles Times, New York Times, Wall Street Journal, Washington Post. Его работы покупают американские политики и голливудские звезды.

Я познакомился с Романом в 1994-м. Мы встречались в Лос-Анджелесе, где он жил и начинал делать карьеру. Нелегкую американскую карьеру карикатуриста. За спиной парня была учеба в Московском академическом художественном училище. По его собственному признанию, в Москве он рисовал и хулиганил. Начал продавать свои работы на Арбате. За карикатуры на советских лидеров его регулярно забирали в милицию. «Менты приводили какого-нибудь полубомжа, который писал заявление, что мои карикатуры оскорбляют его пролетарские чувства. Сейчас, кстати, это опять в России входит в моду».

Жить в этой стране юный антисоветчик не хотел и в 19 лет эмигрировал в Штаты.

Жарким июньским днем 1991 года 19-летний Роман Генн приехал в Лос-Анджелес. «Все вокруг было картонно-декоративное, ненастоящее, и очень ярко светило солнце, – описывает Роман свои первые впечатления от города ангелов. – Сейчас я к этому уже привык, так что меня отсюда не выгонишь», – рассказывает он.

Свободолюбивый, не обращавший внимание на условности, Роман и в новой жизни поначалу немного «чудил». Но в отличие от московского периода, здесь он

твердо знал, чего хочет и как этого надо добиваться. Взяв свои карикатуры, он пошел по редакциям местных изданий. Неожиданно для него самого Los Angeles Times опубликовал его рисунок – в августе 1991 произошел путч, и советская тематика была востребована в западной прессе.

Дальше было восемь месяцев постоянных отказов, хотя Роман еженедельно, как на работу, приходил в Los Angeles Times и показывал свои новые карикатуры. Настойчивость окупилась сторицей – в марте 1992 года он начал сотрудничество с Los Angeles Times, которое продолжалось немало лет.

Через некоторое время я переехал из Калифорнии в Нью-Йорк и забрал с собой подаренные Ромой карикатуры. Они украшали стены моего ньюйоркского жилья, напоминая о шебутном, на редкость одаренном художнике. Я был уверен, что Генн пробьется – гены (простите за каламбур) у него такие...

Информация о талантливом карикатуристе быстро разошлась среди общенациональных изданий. Романа начали приглашать к сотрудничеству ведущие издания Америки. Уже немало лет он работает в штате National Review. Каждая вторая обложка журнала – его авторства.

Сам он, ироничный, парадоксалист в жизни и творчестве, утверждает: «Критерием признания карикатуриста является то, что его посадили в тюрьму». Дэвид Левин, известнейший американский художник-карикатурист, отозвался о Романе: «Цепной пёс, которого Бакли (William F. Buckley, Jr., основатель National Review – **Ред**.) натравил на человечество». Такой лестной оценкой Генн по праву гордится.

Роман рассказывает, что руководство изданий не пропускает ничего, что может быть интерпретировано как расистское или антифеминистское: «У меня много лет ушло на то, чтобы понять, что здесь можно, а что – нельзя.

Постигал это методом проб и ошибок», – признается карикатурист.

«Для Wall Street Journal как-то делал карикатуру на Марту Стюарт (американская бизнесвумен и телеведущая – **Ред**). Пришлось миллион раз ее переделывать – женская часть редакции считала, что боксерские перчатки, в которых я ее изображал, унижают женское достоинство Стюарт. Потом мне сказали, что когда на нее рисуют карикатуру, она обычно звонит в редакцию и орет».

Генн рисовал карикатуры на всех современных американских президентов, многих политических деятелей, голливудских звезд и исторических личностей. Некоторые его работы вызывали нешуточные скандалы на высшем уровне. Традиционно отсылаемый в библиотеку Белого Дома комплект журналов National Review, на обложке которого был изображен Барак Обама в виде проктолога, обиженная администрация президента вернула редакции.

Хотя чаще всего политики относятся к карикатурам с юмором и пополняют ими личные коллекции. Так, Грей Дэвис, бывший губернатор Калифорнии, купил у Романа Генна все карикатуры на себя. «Сенаторы и конгрессмены обычно покупают оригиналы карикатур за партийные средства. Никто ни разу не расплатился собственными деньгами, чек всегда от «комитета по переизбранию» такого-то политика», – смеется Генн. Стоимость его работ начинается от пятисот долларов и может достигать нескольких тысяч.

Роман Генн регулярно бывает в Москве. В 2012 году представил там совместную с художником Иннокентием Барановым выставку карикатур и картин. Однако последние визиты произвели на него гнетущее впечатление: «Россия отравлена ядом мании величия с комплексом неполноценности, которые обычно являются симптомами одной и той же болезни. Напёрсточники от журналистики втюхивают из телевизора малограмотному

населению фантастический бред. Впрочем, народ – не невинная жертва, эти люди с менталитетом подъездных гопников хотят, чтобы их обманывали. Им нравится нападать на кого-то, отбирать, унижать. При этом присутствует какая-то пошлая и слащавая сентиментальность к себе любимым, традиционно свойственная уголовникам. Потом, конечно, ежели дела пойдут плохо, «включат лоха» – мол, нас, доверчивых, опять облапошили кремлёвские злодеи – агенты мировой закулисы, мы ничего не знали. Но нормальных и хороших людей, которых в России немало, действительно жалко».

В творческом портфолио Романа немало карикатур на президента Путина, хотя он признается, что российская тематика не так уж и часто появляется в их издании. «Бывший коллега спросил, почему у нас мало карикатур на Путина. Я ему объясняю, что в США Россией интересуются примерно так же, как в России интересуются республикой Бурунди. Он же убежден, что мы не публикуем карикатуры на Путина, чтобы не раздражать его. Ему даже в голову не приходит, что Путин в Америке любопытен лишь его бывшим соотечественникам, для остальных он – Неуловимый Джо».

Роман остепенился, женился, он – отец троих детей. В нашем последнем телефонном разговоре сетует, что меньше остается времени для творчества – маленькие дети требуют неустанного внимания. Но зато и радость огромная...

Что же касается новых карикатур, то сейчас для Генна замечательное время – президентская избирательная кампания. Есть где приложить силы...

Давид Гай

P.S.Использованы материалы русско-американского сайта Forum Daily.

На обложке воспроизведена карикатура Романа Генна «Хиллари-робот».